

№2

практику старости

ГЕО
ГРАФЕ

содержание

«практики» старости	5
и небо нашей темницы	27
реабилитация права на трухлявость	37
молодым здесь не место (стариковское гонзо)	41
только счастливые лица	53
темпоральная политика для устаревших.....	63
золотой возраст, кадзимая и совет старейшин	79
запоминать исчезновение	93



 **вокруг
костра**

«практики» старости

**АЛЕКСЕЙ БОРОВЕЦ, ВЛАД ГАГИН, ГЕОРГИЙ
СОКОЛОВ, КИРИЛЛ АЛЕКСАНДРОВ**

Вступительный диалог ко второму номеру
«Стенограммы»

Алексей Боровец: Так уж сложилось, что я почти не общаюсь с людьми намного старше меня. Поэтому и о пожилых знаю немного.

Есть несколько наблюдений. Например, что условные пенсионеры легко заговаривают друг с другом и с людьми помладше. Часто сходятся на теме огородов и такого увлечения, как выживание. То есть говорят о таблетках, санаториях и больницах. Если я спрашиваю бабушку о том, как у неё дела, она значительную часть времени будет отводить именно под рассказ о лечении и профилактике. И уже мне давать советы о том, как выживать. Ещё политику могут обсудить. Не так давно, стоя в огромной очереди на почте, я услышал, как женщина пенсионного возраста громко говорила о политике. Бардак в стране она объясняла деятельностью Навального и Собчак и радовалась тому, что опять можно будет выбрать Путина. Вопрос такой: а что ещё мы знаем о пожилых людях? Что есть в их жизнях, кроме лечения и политики?

Георгий Соколов: Если честно, когда я попал на работу в Эрмитаж, такой стереотип о пожилых, который ты описал (наверное, он был и моему мышлению тогда свойствен), пришлось сразу пересмотреть. Очень много коллег пожилого возраста, но они совсем иные. Ясный разум, ясные суждения. Кстати, думаю, что слово «политика» в конце твоего вопроса нужно взять в кавычки. Потому что как раз политического сознания в таких вот «среднестатистических» бабушках и дедушках совсем никакого, мне кажется, нет. Или есть? Тоже любопытно и спорно. А про эрмитажников — это, может быть, исключение? Не знаю.

Алексей: Политику в кавычки — согласен. В Эрмитаж как минимум интеллигентные люди, я думаю, идут работать. Наверное, это специфический срез. Старички все разные, как и молодёжь, я полагаю.

Георгий: Скорее, сама специфика работы влияет. Не то что туда какие-то «лучшие люди» идут работать, скорее профессия заставляет сохранять ясность рассудка. И физическую живость зачастую, кстати.

Влад Гагин: Вот, кстати, с одного из похожих разговоров и началась идея взять такую тему. Собственно, я спросил у Лены, видела ли она где-либо счастливых стариков, пожилых людей, не слишком пораженных вот этим тяжким грузом, который Леша точно обозначил как «выживание». И да, мы подумали, что это туристы (радостные европейцы в музеях), а также работники культуры вроде преподавателей в университетах.

Георгий: С другой стороны, мне кажется, этим грузом «выживания» могут быть поражены и совсем нестарые люди. И вообще старость можно рассматривать не как возрастную категорию, а как состояние... чего? души? характера? личности? Это, наверное, трюизм, но я вот только сейчас об этом отчётливо подумал. И тогда наше заглавное «практики старости» получает иное звучание, иное наполнение.

Влад: Ну я писал в связи с Малабу о поломке в этом контексте. Тогда интересно, что происходит с человеком такого, что он становится «старым».

Алексей: Определён но, многие творческие люди не кажутся старыми и в восемьдесят, если они активны и как-то следят за тем, что происходит в мире. Работают. Есть примеры.

Георгий: Да! Кстати, уж вверну пример про то, что некоторые эрмитажные коллеги демонстрируют очень ясное политическое мышление — хоть по роду деятельности они совсем не теоретики, скорее искусствоведы-практики.

Влад: На самом деле я вот, видясь со многими знакомыми-ровесниками в провинции, готов согласиться, что они походят на стариков.

Георгий: Тут слово «стариков» раздваивается и приобретает несколько уничижительный смысл. Может, имеет смысл как-то разграничить: «старость» и старость или ещё как-то.

Кирилл Александров: Друзья, во-первых, я бы предложил более аккуратно отнестись к обобщениям — как правильно успел заметить Лёша, все мы разные, поэтому у меня есть большие сомнения, что можно говорить о «среднестатистических» пожилых людях и судить о них в целом только по тому, что мы видим, так как выборка в любом случае не репрезентативна. Очереди в поликлинике или на почте — это вообще особый модус. Я думаю, что поведение в нём тоже не столь показательно. Помимо выделенных Владом туристов и преподавателей, работников Эрмитажа и, скажем, художников, я видел много условно «счастливых» (по крайней мере, внешне — по аналогии с теми «несчастливыми», о которых говорил Влад) стариков. Среди них и электрики, и обувщики, и нянечки, словом, те, кто имеет «призвание» и продолжает трудиться, работать, как бы генерируя жизненную энергию тем или иным образом. Мне здесь, кстати, нравится игра слов «travail» (работать) и производного от него «travel» (путешествовать), ведь именно путешествия часто позиционируются как способ продления молодости и сохранения «живости». Это связано с мотивацией, физиологией, мировоззрением и с бесконечным количеством частных обстоятельств. В России же, насколько я знаю, по результатам опросов в целом уровень удовлетворения жизнью невысок, и дело зачастую не только в старости.

Разговор о поломке важен, да — здесь мы тогда говорим не об оппозиции старое-молодое, а скорее о старом и новом. Т.е. именно о сохранении и развитии гибкости, восприимчивости к изменениям и способности к ним.

Алексей: Тогда надо выделить главное в теме и говорить только об этом. Так? Чтобы не ударяться в обобщения.

Кирилл: Да, в первую очередь надо определить критерии, а во-вторых, само слово «практики» в названии выглядит спорным, к этому, думаю, ещё вернёмся. И говорим ли мы только о старости людей или всё же о старости как об общем понятии, категории, в которой может оказаться и вещь, и идея, например.

Георгий: Да, я хотел где-то по ходу разговора внести поправку о том, что не надо ограничиваться людьми.

Влад: Я думаю, не нужно пытаться так всё унифицировать. Многие вещи понятны из контекста.

Кирилл: Безусловно. Просто в ходе диалога, думаю, естественным образом будет выделено несколько основных линий и тем для, скажем так, «проработки».

Алексей: Как вы думаете, есть ли в России некая роль старого человека? С кем я должен буду себя сверять в семьдесят, если вдруг буду не в силах «быть собой»? Есть ли в нашей культуре кто-то, кроме дедушки Ленина? Есть ли женская ролевая модель для пожилых людей? Ленин — это просто один из возможных примеров, хотя, признаюсь, в голову ничего больше не приходит. Важны ли ролевые модели?

Влад: Ну кстати, если рассматривать реального Ленина, то, помимо того, что он гриб, он же не особо дедушка. Он умер, кажется, в 53 года, и провел довольно активную жизнь. Думаю, он не подходит на какую-то ролевою модель.

А вот кто подходит, это вопрос, конечно.

Алексей: Но его называют дедушкой.

Георгий: Ну речь всё же не о реальном Ленине, «дедушка» — это мифологический Ленин.

Была же шутка где-то, мол, почему Ленин в 52 «дедушка», а Путин — «молодой, энергичный лидер»?

Влад: Так это ни о чем не говорит, если рассматривать его как некую модель старого человека.

Ну то есть дальше «дедушки» это никуда и не идет.

Георгий: Не знаю. Мне кажется, если уж говорить о какой-то «ролевой модели», то это всегда будет мифологическая фигура, а не реальная.

Влад: Согласен, но не согласен с тем, что Ленин такой фигурой является.

Алексей: Пожалуй, так. А в других культурах существуют образы старости? Я имею в виду, примечательные, известные широким массам.

Георгий: К тому же, образ Ленина, частью которого является прозвание «дедушки» — это такой добрый, уютный, благосклонный и т.п.

То есть это такая реально наведённая аура, в которой дедушность занимает важное место, мне кажется.

Влад: Я этого не чувствую, ну да ладно. И действительно, думаю, было бы продуктивно поговорить об идеале старости. Что вы будете делать, когда состарится ваше тело, например?

Алексей: Кажется, образца (в народе) нет, и смотреть остаётся только на примеры из семьи, на какие-то стереотипные представления, случайные воспоминания. Как человек готовится к старости? Мне кажется, что возраст ни к чему не обязывает. А вы так же думаете? Тело уже начинает пугать меня немного. Вот планирую начинать ходить в бассейн. Но в целом стараюсь не думать об этом вообще.

Кирилл: Помню, у моей подруги на даче висел портрет Хэмингуэя. И кто-то из гостей как-то спросил: «О, это твой дедушка?». Мы тогда смеялись, что в каком-то смысле это действительно так — многим он хорошо знаком именно как «старина Хэм». И как раз герой из его все понимаем какого произведения — один из, возможно, самых часто называемых стариков. В массовой культуре моделей более чем достаточно, думаю: от деда Мазая до какого-нибудь Гэндальфа Серого или, скажем, Далай-ламы, если говорить о мужчинах. А самая известная бабушка — это, наверное, королева Великобритании или мать Тереза. Принципиально другие примеры — Раневская или Мэрил Стрип, если, допустим, акцентировать внимание на сохранении «живости». Но вот имеет ли это какое-то значение — не уверен. Потому что Гоша прав — это всегда миф, идеал.

Георгий: Вот мне кажется, что последнее лёшино сообщение очень любопытно и характерно. Старость тела — страшна. И мы стараемся не думать о ней. Исключить её, подальше загнать.

Кирилл: Подготовка к старости — действительно страшная тема. Выбор пенсионного фонда и всё такое. Белая зарплата, отчисления.

Георгий: Пока речь только о телесной старости, какой уж там фонд.

Кирилл: Это связанные вещи: люди не могут больше работать в виду физических ограничений и выходят на пенсию.

Георгий: Связанные, но разные; социальная старость и телесная; и конечно, социальное всегда связано с телесным, с этим не поспоришь.

Алексей: Итак, понятно, что старость пугает телесной немощностью и уязвимостью для болезней. Мы как-то пока не озвучили и страх одиночества или слабости. Ну и поняли, что образ старика для каждого свой. И особо нет культурно оправданного идеала и подсказки.

Влад: Думаю, старость тела была бы менее страшна, если бы мы этому больше внимания уделяли. Мне кажется, я никогда не видел голое старческое тело. Наоборот, везде в культуре я привык к исключительно приятным, молодым образам (не потому ли они кажутся мне приятными?), а ведь, по сути, нет большой разницы, просто одно тело больше страдает, другое меньше, но старое тело пугает не только как болезнь, но и как что-то само по себе страшное, исключенное из эстетики.

Георгий: Наверное, ты прав. Красота определяется идеалами, культурным кодом. И исключённость старческого тела из культуры (в первую очередь визуальной) вполне может влиять на восприятие. Старые тела в фильмах показывают, конечно, но всегда как какую-то телесную девиацию, противовес красивому-молодому, да.

Кирилл: Да, в крайнем случае это «красивые» старые тела.

Георгий: Но даже тогда они показаны как не очень красивые в абсолютном смысле.

В причудливом будущем люди в основном смотрят кино, в котором играют только пожилые актёры. Потому что кино состоит из войны и секса, но не игрушечных, а настоящих. А возраст согласия — не то сорок семь, не то ещё больше лет

Алексей: В мире шоу-бизнеса обычно старые актёры до последнего на экране стараются выглядеть помоложе, как мне кажется. Им не дать их возраст. Хотя за кадром они более походят на людей в возрасте. Это вносит вклад в то, что даже старым не удаётся быть адекватными себе. В Голливуде, скажем.

Георгий: Кстати, вспомнил забавный пример из Пелевина. «Снафф» читал кто-нибудь? Там в причудливом будущем люди в основном смотрят кино, в котором играют только пожилые актёры. Потому что кино состоит из войны и секса, но не игрушечных, а настоящих. А возраст согласия — не то сорок семь, не то ещё больше лет. И разные пожилые Бэтмены и прочие супергерои сначала сражаются, а потом трахаются, а потом снова сражаются. И по тексту рассеяны разные комментарии этой херни, но я толком не помню суждений. Помню только, что, когда прочитал, подумал: какой ужас.

Алексей: Есть люди, которым нравится фотографировать стариков. Смотреть на них. Не думаю, что это станет мейнстримом. Просто есть ощущение, что, если говорить про старение тела, то всё же главная беда не во внешнем виде, а в проблемах со здоровьем. Хочется быть поворотливым. Не испытывать боль при движениях. Нормально дышать. Не болеть раком.

Георгий: Это всё бывает не только у пожилых людей.

Алексей: Согласен. Но становится понятно, что с годами всё больше шансов подорвать здоровье. Вот мне как-то удаётся, не меняя образа жизни, ухудшать постепенно здоровье. Вроде ничего особо вредного не делаю, но не молодею день ото дня. Отнюдь.

Старое тело пугает не только как болезнь, но и как что-то само по себе страшное, исключенное из эстетики

Влад: Ну да, это такая беспроигрышная лотерея. Вернее, безвыигрышная. Но здоровье — это то, что мы пока не можем изменить, поэтому, возможно, лучше про восприятие этого ухудшающегося здоровья в обществе подумать. А по поводу разума — тут тоже можно говорить о поломке. Я отлично помню, как мой дед, ученый, изменился после инсульта, его как будто подменили. Он всё время думал, когда лежал уже дома, что это больница, что это какой-то секретный этаж. Думаю, он как-то немного заблудился внутри своей головы — и это действительно страшнее дряблого тела, как мне кажется. Но на эту реплику, наверное, адекватного ответа быть не может.

Алексей: Заметь, что это был инсульт, а, я уверен, многие люди в возрасте начинают терять связующую нить с близкими и молодёжью в силу других факторов. В какой-то момент перестают «принимать новое», что ли. И начинают выглядеть неинтересными или некомпетентными младшим товарищам или членам семьи. И, возможно, более ментально цепким сверстникам.

Влад: Да, но инсульт тоже следствие старости. Возможно, то, что ты называешь потерей связующей нити, тоже связано с какими-то биологическими процессами, просто это некий микроуровень, постепенное движение — в отличие от инсульта.

Алексей: Как знать. Мне кажется, социальная подоплёка тут тоже очень важна. Вот ты уже говорил, что в Уфе тебе показались старыми твои ровесники. Пусть это только впечатление, но кажется, я понимаю, о чём ты говоришь. И, наверное, это действительно щупальца старости в её негативном смысле. А может ли быть другой? Щупальца из будущего.

Влад: Да, наверное, это всегда такая смесь биологии и социального. Другой — ну, образ какой-то мудрости, кстати. Такая противоположность старческому безумию.

Алексей: Да, опять напоминает миф о стариках. Один миф о стариках из очередей на почте, другой — о мудрых и опытных.

Если грубо и утрированно, действительно ли надо быть старым, чтобы философствовать и менторствовать, а в каком случае это, напротив, оборачивается заплесневелостью и архаикой?

Кирилл: Меня тоже это интересует — я недавно думал о старости и мудрости в контексте образования (гуманитарного в первую очередь и философского в частности). Если грубо и утрированно, действительно ли надо быть старым, чтобы философствовать и менторствовать, а в каком случае это, напротив, оборачивается заплесневелостью и архаикой? Здесь же рядом пролегает тема устаревания идей, концепций — в какой момент и кто провозглашает их «старыми»?

Но это отдельная большая тема, хотелось бы увидеть в новом номере материал об этом.

Алексей: А я хотел вас как-то подтолкнуть к разговору об одиночестве. По своим личным наблюдениям не кажется ли вам, что в России пожилые люди отталкиваются своими семьями? Окружаются неискренностью, недомолвками?

Извините, я опять сильно обобщаю, конечно. Можно разные примеры вспомнить и попробовать уловить в них что-то главное, значительное.

Есть, например, хороший фильм Брайана Форбса «Шептуны» (Whisperers) об одиночестве пожилой женщины — думаю, он многое показывает и проясняет.

Влад: Мне кажется, это еще накладывается на то, что в целом институт семьи трансформируется. У моей бабушки было куча родственников и т.д., у моей

мамы — только несколько тех, с кем она поддерживает связь. Я вообще никакой семьи не планирую. Естественно, это всё ведет к проблеме одиночества: чем дальше, тем меньше будет людей твоего поколения. В этом смысле семейные связи «хороши» своей теснотой, силой. Дружеские связи в городах, напротив, очень зыбкие. Завтра Кирилл уедет в Австралию — и мы, конечно, сохраним общение, но я не смогу на него рассчитывать так, как раньше. Я думаю, выход в том, чтобы научиться — в противовес современному городу — создавать сильные дружеские связи, какие-то большие коллективы.

Алексей: В семьях к людям привыкают. Быстро перестают слышать, как мне кажется. Человек становится обманчиво заведомо понятным, и его речь даже перестаёт иногда физически слышаться. Наверное, в каком-то смысле семьи держатся либо на хороших привычках, либо уж на неугасающем самоотверженном внимании к близким (надеюсь, такое возможно). Влад, твой отказ от семьи может значить и заявку на сохранение именно этой автономии. Не превращаться у кого-то на глазах в предмет повседневности. Оставаться субъектом. Жить для тех, кому с тобой интересно. Ну и для себя.

Влад: Ну я просто хотел бы, чтобы эти сильные связи формировались на чем-то по-настоящему совместном. В случае с семьями часто получается, как в одном стихотворении Станислава Львовского: «и жену не любит и бросить не может». И не очень понятно, что людей вообще вместе держит, кроме, собственно, того, что так легче и привычнее выживать.

Алексей: Страх одиночества в старости держит. В стране, где старость не так уж оберегается. А что, если человек стареет именно из-за чувства собственной неактуальности и непригодности?

Георгий: В общем, я вспомнил тут на днях, имея в виду как раз наше обсуждение (тогда предстоящее) об одном моём однокурснике.

Он был (и остаётся, я полагаю) моим ровесником, но у него была странная манера поведения. Несмотря на то, что специализация его — медиевистика (сейчас он вроде бы уже кандидат наук), он, кажется, испытывал большое уважение к товарищу Ленину. Одевался крайне похоже на какое-то стереотипическое представление о Ленине. Но самое главное — то, как он держался, как говорил. Всегда кряхтел, голос был надтреснутым, чувствовалось, что это не натуральный его голос, а некоторая манера. Причём это не то, чтобы иногда он говорил и вёл себя так, а иногда эдак. Его, насколько мне известно, никто из наших общих знакомых никогда не видел иным. Этот образ, эта роль очень с ним срослись. И я, честно говоря, просто не понимаю, как это, зачем это, для чего? И больше такого пока не встречал.

Это собственно к вопросу об искусственной старости, о том, что старость принимают на себя и молодые люди. То есть они могут быть похожи на стариков в духе того, о чём говорил Влад, когда упоминал своих уфимских сверстников, но — могут и сознательно, искусственно сконструировать свою старость. И причины мне хотелось бы как-то исследовать. Об этом, по всей видимости, будет и мой текст в номере, хотя бы частично.

Он видел себя лидером курса, ко всем обращался «товарищ», письма общей рассылки подписывал лаконично одной фамилией вроде «Ленин», только другой.

Влад: Гоша, а ты уверен, что это был именно образ?

Георгий: Уверен, что это не было естественно. По крайней мере, изначально.

Алексей: Может, это несознательная трансформация.

Георгий: Во всяком случае, не до конца сознательная.

Влад: Интересно, связано ли это как-то с университетским дискурсом и с тем, что он впоследствии стал кандидатом наук.

Георгий: Скорее, с дискурсом историков, да не человеческих, а СПбГУ-шных.

Влад: Да, это многое объясняет.

Алексей: Хорошо. Я бы хотел пока уточнить: раз старость человека мы привязывали к телесности, то и о старости предметов говорить будем о физической? Не о моральном устаревании?

Георгий: На самом деле Лёша очень точно попал в самую середину вопроса, который меня занимает. Что есть старость вещей? Просто как раз в те дни, когда мы только остановились на нашей нынешней теме, я получил релиз одной выставки, которая будет посвящена руинам. Там, в релизе, много раз повторяется слово «камень», которое видимо выступает как аватар руины, цитируются различные труды по философии руин. Это правда такое важное для европейской (и, вероятно, не только) культуры понятие. А потом я проснулся утром, и в голове вертелась пришедшая натурально во сне формулировка: «является ли эстетика ебеней эстетикой руин?». Во сне казалось, что это отличная тема для статьи, что это всё очень логично и максимально интересно. Однако, когда я проснулся, объяснить кому-то вслух суть темы стало сложно. Я и сейчас думаю об этом, но конкретики пока нет. Здесь, кажется, как раз сталкиваются темы старости физической и старости какой-то иной, моральной, культурной или какой-то

ещё. И мне очень хотелось хотя бы вот такой репликой обозначить эту тему.

Алексей: Если говорить о зданиях, то здесь можно подумать и об архитектуре, и о практическом применении, и отдельно об исторических коннотациях тех или иных построек.

В руинах жить тяжело, и, наверное, это даже считается неприемлемым. А в ебнях живут и даже празднуют. Руины не строят, а ебня строят. Или это наш взгляд превращает эти районы в ебня? Но наш взгляд — это взгляд какой? Взгляд современный, который считает, что сегодня эти районы выглядят странно, или же взгляд людей, которым эти районы показались бы такими же странными в те дни, когда они были построены и являли собой образец современной застройки? Надо понять, что такое ебня, наверное, и имеют ли они чисто объективные характеристики или же находятся в глазах смотрящего? В каком-то смысле руины, раз уж они физически существуют и продолжают вырабатывать культурную ценность, являются живыми. Но трудно сказать, являются ли они старыми. Возможно, древние симпатичные руины интереснее и поэтому моложе, чем типовой район Черёмушки, которому всего лет пятьдесят.

Мне кажется, что ценность, конечно, каждый из нас сам привносит — в силу своей внимательности, образования, опыта, целей. В силу своего вкуса.

Так что старость и молодость одних и тех же предметов, наверное, определяется каждым для себя по мере необходимости. В соответствии с личной системой координат.

Когда я видел, как Швядкой на ТВ общался с Гнойным, мне он казался моложе тех моих сверстников, которые хейтят русский рэп просто потому, что он им не интересен.

Это к вопросу субъективного восприятия старости.

Кирилл: А я бы всё же задал вопрос о формулировке нашей темы — вы уверены, что она должна звучать именно как «практики старости»? Возникает вопрос: разве можно старость практиковать или не практиковать (тогда это, наверное, скорее практики «старения»)? И вообще насколько гармонично и ёмко это словосочетание?

Очень много «практик» вокруг. Это слово применяется всеми к месту и не к месту. При этом понятие старости стоит особняком, поэтому, думаю, будет излишним эту формулировку сомнению подвергнуть.

Есть ощущение, что будущее уже наступило — и ни Швыдкой, ни Гнойный с их эфирами на телеканале «Культура» не смогут за ним угнаться

Влад: Мне очень нравится это название, хотя если остальные не согласны, можно и поменять, конечно. Под «практиками» я имел в виду какие-то конкретные действия. вернее, их анализ. Как организован досуг пожилых и т.д. Понятно, что номер будет скорее про теории старости.

Георгий: А мне нравится слово «практики», просто надо его как-то раскрыть. Но оно очень подходящее.

Влад: То есть очевидно, что старость связана не только с социальным, но и с биологическим, и вот хотелось бы понять, как лучше всего практиковать биологическую старость — то, о чем мы говорили в связи с телесностью, например.

Алексей: На массаж ходить.

И не стесняться тела, наверное. И старикам, и тем, кто публикует изображения.

Влад: Или уехать под Питер, собрать коммуну и говорить о мировой революции (не знаю, почему сейчас я сказал именно то, что сказал).

Я бы добавил еще, что не только люди и вещи устаревают. Недавно остро стал чувствовать, что те информационные пласты, в которых мы совершенно

Получается, что и мы, и устройства-машины наши старенькие действительно как бы со стороны наблюдаем головокругительную акселерацию технологических, экономических и других процессов, и старость в той или иной степени практикует каждый

недавно существовали, отшелушиваются, становятся какими-то нелепыми и непригодными для работы внутри них — и чем дальше, тем быстрее, кажется, происходит смена.

Я уже писал об этом заметку, приведу пример, который там приводил: смотрел подборку старых видео с ютуба, этим видео лет пять-десять от силы, но уже кажется, что все какое-то очень старое и в смысле того, как это сделано-снято, и в смысле содержания наполнения. И дело не в туповатом жанре, а просто так уже не происходит жизнь. Второй пример — посмотрел старый ролик (11-го или 12-го года), агитирующий приходить на оппозиционные митинги. Основной тезис ролика: приходите, потому что будет много красивых и интеллигентных людей, можно встретить вторую половинку... Очевидно, что сегодняшняя политическая повестка вписывает нас в куда более жесткие структурные матрицы, и этот ролик смотрится теперь неимоверно наивно.

А потом я съездил в философскую школу, где было много молодых умных людей, и когда я вернулся, я ощутил некоторый диссонанс, встретив людей, которым нужно объяснять значение феминизма и еще какие-то такие вещи.

Словом, есть ощущение, что будущее уже наступило — и ни Швыдкой, ни Гнойный с их эфирами на телеканале «Культура» не смогут за ним угнаться.

Не знаю, получилось ли передать ощущение, но вот об этом тоже можно поговорить.

Что касается руин — да, важный сюжет, касающийся и памяти, и травмы, вообще того, как функционирует культура во времени и время в культуре. В этом смысле, конечно, ебень, под которыми обычно подразумевают что-то вроде типовых жилых районов окраин — это тоже руины, своего рода эстетические координаты нашей постсоветской ностальгии по детству.

Алексей: Ну будущее по ТВ в принципе давно не показывают.

Кирилл: Мне вспоминается разговор Арсения Жилиева (чья выставка «Возвращение», как раз реконструкции посвящённая, сейчас проходит на винзаводе) и куратора его выставки Андрея Шенталя, опубликованный месяц назад на Кольте.

Они, в частности, говорят о том, что человек не успевает за требованиями технологического прогресса и тем самым стареет, выходит из оборота. И дальше Жилиев говорит следующее:

«Но ведь то же самое происходит и с техническими устройствами, и нам в том числе свойственно проецировать на них человеческие эмоции. Возможно, с этим связано желание сохранять вышедшие из употребления приборы или старые автомобили. Хотя философ мог бы сказать, что выходит из употребления не само устройство, а определенного рода соединение, которое оно создавало вместе с человеком и временем своей жизни. Ведь чувствительные люди часто замечают, что не только животные становятся похожими на своих хозяев, а хозяева на животных, но и «неодушевленные» механизмы могут особым образом реагировать, иметь свой характер и пр. Но все равно в среднем век машины недолог».

И получается, что и мы, и устройства-машинки наши старенькие действительно как бы со стороны наблюдаем головокружительную акселерацию технологических, экономических и других процессов, и старость в той или иной степени практикует каждый. А вопрос про слово «практики» я задал как раз исходя из того, что если мы говорим о старости как о концепте или категории, о старости вещей, о рефлексии на тему старости в культуре и искусстве, компьютерных играх, философских текстах, то речь не только

и не столько о практике, о чём, Влад, ты, собственно, сам сказал.

Алексей: Если касаться темы технологий, то важно определить, ставим ли мы человека в ряд машин или противопоставляем его машинам. Это может отразиться на том, что мы называем старением индивида. Наверное, от других машин человек отличается кажущейся беспричинностью своего появления. Технологии служат конкретным целям и устаревают, когда более совершенные технологии начинают справляться с делом лучше. Хотя тут бизнес вносит свои коррективы: он может замедлять или ускорять влияние эффективных технологий или даже менять фокус. Например, раньше музыку слушали на качественных аналоговых носителях, а сегодня качество звука не так важно людям, как возможность включить любую запись мгновенно в любом месте. То есть старые проигрыватели по-прежнему совершенней в иерархии качества звучания, но для подавляющего большинства людей это хлам из прошлого. А вот все изменения прошивки человека как машины.... Сложно понимать, где движение вперёд, а где назад, ведь мы не знаем, есть ли у человека цель. Поэтому устаревание имеет этический (оценочный) характер, если мы не говорим об ухудшении здоровья.

Влад: Кстати, мне кажется, это неплохой вариант вполне в духе нашего журнала: мы определяем тему номера, а в первом же материале оспариваем ее название.

Да, тоже хотел сказать по поводу технологий, что, кажется, их устаревание сейчас очень искусственно. Например, в одной из книг М. Уэльбека, который тоже будет упомянут в, по крайней мере, одной статье номера, есть эпизод о том, как писатель Уэльбек плачет из-за «диктата маркетологов» и того, что три его любимых вещи — вроде бы это куртка, ноутбук

и ботинки — сняли с производства, хотя он готов был бы покупать их бесконечно по мере устаревания очередной конкретной вещи. И иногда создается ощущение, что нас слепо ведут по этой технологической вертикали (или горизонтали), а мы уже задним числом приписываем движению статус прогресса. Хотя, конечно, есть и более очевидные факторы прогресса, но все равно я бы не стал противопоставлять нас машинам, потому что для дрона, у которого «сбились» настройки и который расстрелял несколько человек (такие случаи были), совершенно не очевидно, что его создал человек для некой цели, он делает что-то другое, и чем дальше, тем сложнее, по-моему, будет поведение наших технических друзей.

В этом смысле можно говорить и о машине капитализма, которая заставляет нас наращивать скорость и изобретать всякие новые технологические штуки. И хотя я не сторонник такой мифологизации капитализма, всё равно соглашусь с тем, что вопрос о том, кто в этой игре хозяин и создатель, а кто — раб и создание, гораздо более сложен. Не стоит забывать, что и мы меняемся вслед за изменением технологий, и вообще, может, мы и технологии — это как бы одна машина, которая себя разными образами пересобирает. Но я отошел от темы.

Кирилл: Да я, честно говоря, думаю, что на этом можно заканчивать.

В ходе этой вводной беседы мы пришли к тому, что не очень представляем себе, что такое старость и как о ней можно говорить. Наверное, рассчитываем как раз за счёт выпуска номера хоть немного в этом разобраться. Мы говорили о том, что старость часто ассоциируется с болью, несчастьем, выживанием, но при этом не стоит обобщать — с нами могут не согласиться некоторые геронтологи (в частности, Рюди Вестендорп, чья книга «Стареть не старея» недавно вышла в издательстве Ивана Лимбаха,

говорит о том, что в старости есть свои преимущества, и уровень удовлетворения жизнью не зависит от возраста).

Есть много мифов и стереотипов, связанных со старостью, которые, впрочем, иногда коррелируют с действительностью. В частности, в рамках номера готовятся материалы о ветхости и менторстве в университетской среде, об отношении к пожилым в разных культурах, возможно, поговорим о травматическом опыте ветеранов ВОВ и о том значении, которое придаётся ему в культуре нашей страны. Есть мысль показать, как репрезентируют старость те или иные художники, режиссёры, создатели игр. Каких-то образцов и ориентиров в культуре мы в ходе дискуссии, наверное, всё же не обнаружили, что не означает, что их нет, а скорее свидетельствует о том, что для нас это по тем или иным причинам не представляет важности.

Если говорить об оппозициях, то старому, очевидно, может быть противопоставлено как «молодое», так и «новое», всё зависит от контекста, но при этом именно оппозиции для нас, наверное, опять же не так важны. Говоря о старости, мы часто имеем в виду негибкость, причём как тела, так и «ума», но это тоже далеко не исчерпывающее определение.

К тому же стареют не только люди, но и технологии, идеи — и это отдельная большая тема для анализа, о которой мы тоже попробуем поговорить в готовящихся материалах.

При этом мы, думаю, отдаём себе отчёт в том, что избежать обобщений, сомнений и неловкости вряд ли удастся. Под сомнением даже сама формулировка темы «Практики старости» — что можно так называть, а что нельзя. Но всё, как обычно, опять же будет зависеть от контекста. Посмотрим, что из этого получится.



наскальный
рисунок

и небо нашей темницы

АРТЕМ ОСОКИН

Подборка стихотворений Артема Осокина
с предисловием Влада Гагина

Артем Осокин конструирует свою поэтику в сложной зоне, тематически складывающейся из артефактов коллективного прошлого, объектов ностальгии, актуальных политических событий, в свою очередь состоящих из напряженных узлов власти и сексуальности, иронически-меланхоличной игры идентичностей, в которой иногда может промелькнуть призрачное освобождение. Описанная зона сложна, потому что решающийся говорить об этой стороне социальности всегда ходит по краю, стараясь не свалиться в сермяжную игру с чувствами читателя; чтобы этого не произошло, нужно выстраивать довольно тонкие и неочевидные схемы. В случае Осокина таким структурным сочетанием будет неожиданное совмещение отчетливых строк-синтагм и рваной, почти разговорной речи, совмещение сложной образности и псевдо-непосредственной передачи опыта лирического субъекта, похожей на способы развертывания политической поэзии девяностых («Мне и сигареты без паспорта не всегда продают; / какая уж тут тактика обольщения»). Из всего этого складывается язык, на котором позволительно задать вопрос куда-то в меркнувшие очертания прошлого, вопрос, в равной степени задевающий и политические, и онтологические стороны места, в котором мы сейчас оказались и в котором мы находились когда-то давно: «Клудия Колл, судимая за раздражение жадной памяти — / как ты там, оглушенная белым шумом?».

липкий холод настал — открываю глаза — стена — дай мне опору дай мне понять я дома — вот квадрат покатился и получился ромб — рисунок заворожил слезами размытый — там бордовые разные пятна цветы или даже улицы — заблудился и провалился — забыл о чем размышлял

ковер это символ достатка — так говорят — говорили в позднем союзе а может думали — вот он рядом уютно-тёплый как бок быка — хорошо что к утру всё нормально спасибо отче — хорошо что земля ламинат под ногами всегда тверда — исполать электрический чайник и газовая плита

антресоли мои антресоли сколько же там богатства — там все зимние куртки и обувь и те ковры — что не уместились на стенах и на полу — что на плечи накинуть не смог — не подумайте не помешан — ведь ковер это символ — даже одна из скреп

умывался и слышал гудели трубы а за стеной — кто-то плакал злился голос врезался в голос — каблуки стучали по полу гремела мебель — интонация на интонацию — как-то так

это гулкая кровь нуждается в мягких стенах — чтобы сор оставался в избах в окне лучина — чтобы людям в глаза не стыдно — нет у меня проблем

то не роскошь вовсе — скорее необходимость — поверять печали которых нету — коврику иконе — тут и боли мои под замком и копеечка будь при мне

покрываюсь ковром — так завещали предки — славься славься ковер вековой — не смешно замолчи не смей — не могу иначе а как иначе никак иначе — на кого положиться — кто укроет и приголубит

ты не понял с первого раза — все у меня в порядке — нет проблем не узнаете не пушу — я мужик я не плачу идите нахуй — я не вы

развалили
просрали
продали

На кого ж ты меня покинул?

ковёр улетает на юг

Если долго смотреть рен-тэ-вэ,
сквозь мелькающие экраны
станет просвечивать посмертная маска пенсионера,
который не смог дожидаться
десерта на званом ужине,
развязки сериала
или звонка от внуков.

Видел это лицо недавно, в окне консьержки;
на пластмассовой вилке дрожал завиток лапши,
норовя соскользнуть, а в глазах отражался Киркоров
сквозь сценический дым и пряный пар доширака.

— Клаудию Колл состарили радиоволны.

...а ведь было же дело, за гаражами,
на разбитом колене была записана
программа телепередач; мне сказали,
что все леди делают это, забыв про стыд,
по субботам, ближе к полуночи;
переключая каналы между шагами в родительской спальне,
сквозь нежную сепию мы наблюдали, как
происходит смешное, слюнявое, сиськи-жопы,
гитарные риффы красивой жизни, кокетливый саксофон,
раздражение жадной памяти, Клаудия Колл,
почему нужно столько усилий тебя узнать
сквозь этот тревожный слепок, сквозь пряный сценический дым,
сквозь окна в подъезде, радиоволны, Клаудия Колл
не слышит моих приветствий, не слышит, как я зову
полетели сквозь окна, Клаудия Колл, я буду твоим плащом
и укрою от страшного глаза, вписанного в треугольник,
треугольник черных волос внизу твоего живота,

выжившая в застенках советских лабораторий,
имя своё рассеявшая в секретных архивах спец-служб,
Клаудия Колл, судимая за раздражение жадной памяти —
как ты там, оглушенная белым шумом?

— Я крошу в майонез обычный бульонный кубик
и запекаю мясо под этим соусом. Подавать...
...искушения ностальгии в мерцании тела, но
этот свет, эта вспышка — следствие сбоя
в скучной серийной гармонии порнофильмов, ты
неудобна, Клаудия Колл, тебя заклемили, метка
«восемнадцать плюс» на твоей спине
горит сквозь невзрачный свитер; мне запретили
врачевать твой ожог, но сияние этой раны
до сих пор окрашивает предметы.

— Из достоверных источников
стало известно что...

..у подростка внизу живота — гладкий кукольный пластик.
Слышу: «Руки поверх одеяла» — не расцарапать то,
о чём ещё слишком рано, о чем уже слишком поздно,
в кукольном доме, за гаражами, между шагами взрослых
сексуальности не существует, Клаудия Колл?
Давай помолчим об этом, ты вне закона
и вне горизонта — на горизонте Сталин,
вездесущие рептилоиды, Анна Чапман;
могло быть и хуже, но в кармане лежит заточка
и записка: «Крепись. Удачи. Клаудия Колл»

голубой или розовый
кукла или пистолетик
важно ли это
когда оглушает взрывом
не слышно команд и приказов
и летят на землю штандарты чужой войны
закопав оружие в развороченной гусеницами песочнице
я достаю из вещмешка цветочные гирлянды и шампанское
разжигая костры под июльским небом

и провожаю просеянный строй
 проклятием и слезами
 примирением и молчанием
 всё что у меня осталось
 это стыд недоговоренности
 перед тобой
 мое милое отражение
 достоверное
 слишком заметное
 как я мог так долго прятаться
 от твоего дурашества
 от острой сократовой правды
 не слышать твоих вопросов
 мы как будто давно не виделись
 и встретились на программе «Жди меня»
 мелодраматическая музыка деликатно хранила молчание
 когда обрели друг друга
 брат и сестра
 я вижу тебя уязвимую и плачу без стеснения
 как будто Россия
 не одна большая казарма
 и не пространство под тюремными нарами
 где обнаженные голоса
 вне устава и вне понятий
 полная новых сил и готовый к великим свершениям
 я достаю сачок для ловли бабочек
 ловить в него только воздух
 и бегу с ним мимо палаток общепита
 по засранным паркам и дымным промзонам
 в клетчатой юбке
 прохладненько и спокойно
 когда ветерок поднимает мой дерзкий килт
 когда синти-поп
 манерные электронные восьмидесятые
 разрывают волюнку
 и небо нашей темницы

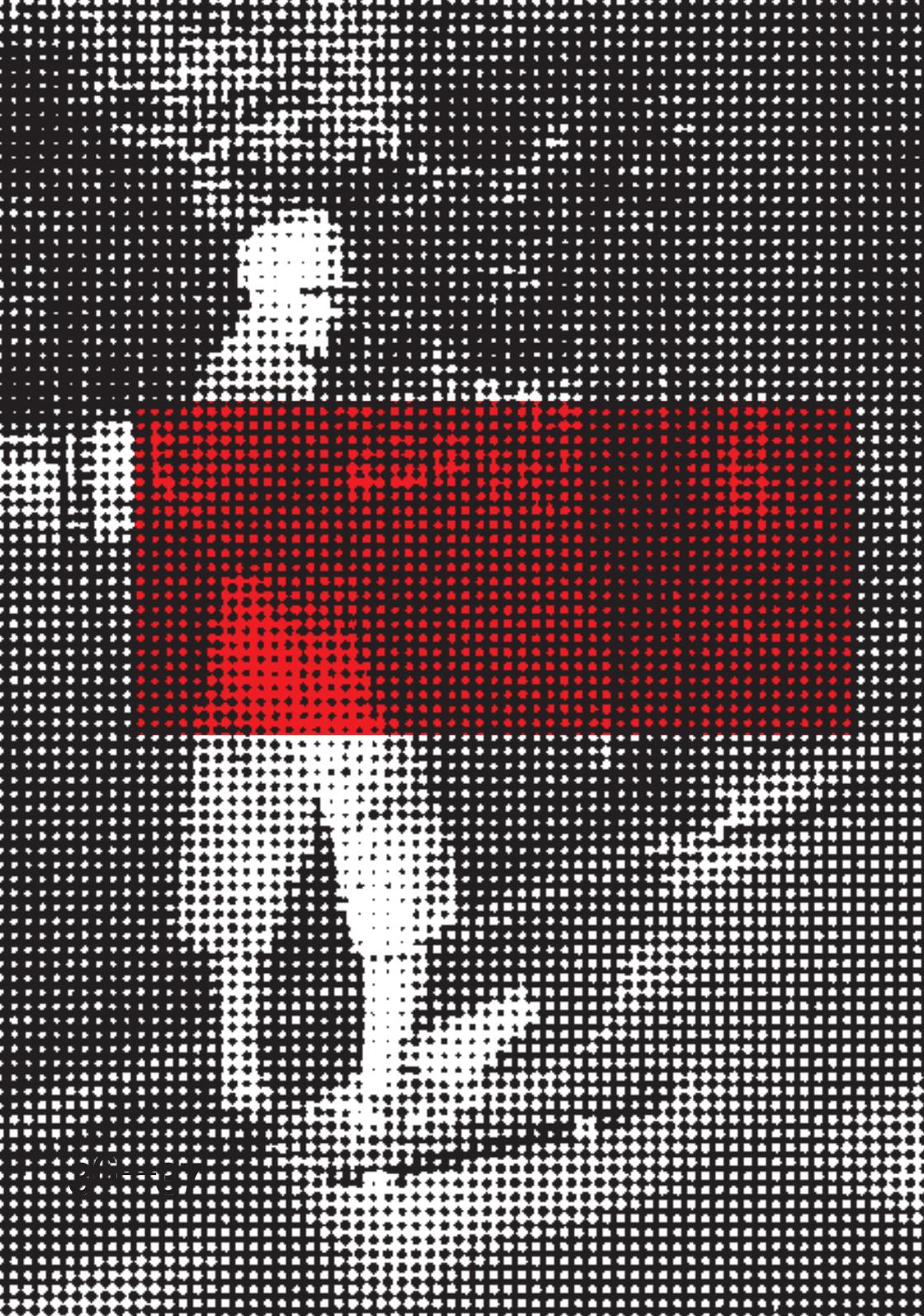
Возбуждаю ли я ненависть и вражду?
 Ну и вопросы у вас, товарищ майор.
 Ежечасно. В своих фантазиях.
 Мне нравится думать, что они находят меня привлекательным, но
 это лишь вероятность
 (в отличие от моих мокрых снов).
 Не вызывает сомнений иное:
 ненависть и вражда
 возбуждают меня
 нешуточно. Уголовный кодекс предусматривает
 перестановку слагаемых?
 Буду с вами откровенен: я типа влюбился, но исключительно
 в наш еще не случившийся секс.
 Просто боюсь заговорить с этими БДСМ-дивами
 вслух.
 Кто они, и кто я?
 Мне и сигареты без паспорта не всегда продают;
 какая уж тут тактика обольщения;
 какое уж тут цветение девиаций;
 какой уж тут тройничок?
 Пошлют еще, засмеют чего доброго,
 не оценят моих намерений,
 поэтому буду подсматривать,
 издалека;
 как мои девочки ерзают на коленях жирного потного депутата;
 как казачья нагайка полосует их белые бедра
 и комья газетной бумаги, желтые кляпы
 душат их голоса.
 Все что угодно, только не подавайте виду
 что вам больно, что вы существуете
 на условиях подчинения.
 Это распалит их еще сильнее,
 и ваши мучители скончаются от сердечных приступов
 (дело не только в том, что когда казаки бесятся, у меня встаёт);
 Когда императив захлёбывается, я не могу сдерживать ликования:
 этот рупор больше не заглушает
 потока под нашей кожей.

Так что наподдай этим сучкам, атаман.
 Еще немного, и я кончу мимо твоей сувенирной папахи на нежные
 спины,
 тем самым дав понять,
 что все мы причастны этому празднику
 русской стыдливой похоти.
 Она может не бояться проклятия памяти.
 Даже стихотворение написал, но никому
 кроме вас, товарищ майор, не показывал:
 «когда на город опускается ночь
 я возбуждаю ненависть и вражду
 шторы плотно задернуты
 наша связь
 вне закона
 раздается хлопок
 только что открылась бутылка
 отечественного шампанского
 мы возносимся на пузырьках
 ах»

имя мне легион и мы говорю об этом
 вне библейского ужаса какой настигал нас там
 на автобусной остановке возле храма ли
 в магазине и в любом осуждающем взоре
 произнося наслаждаюсь причастностью общему телу
 мы возвращаемся в рой не мысля себя помимо
 повторяемой аксиомы я легион
 когда подключаю провод к мигающей плоти
 и становлюсь множеством распадаюсь на алфавит
 в многоликое насекомое в искажающее кипение
 электрических звуков кислотного цвета
 на крылышках наших в хитиновой толще розовый спазм
 так нередко окрашивают пошленькое чувство
 но мне ближе то символическое значение

каким этот цвет наделяют в индии цвет приветствия
 здравствуй добро пожаловать в клетку
 раскрываются створки рёбер и всем неловко зачем я вспомнил
 божье имя и большую птицу не слышать не замечать
 наслаждение мышечной болью временное замещение
 пока не наступит отлив я вырван из цепких вод мы теперь не ма-
 шина
 я шагаю по мокрым пескам жадно дышат слабенькие
 сверкают чешуйками влажной грязью но черный луч
 достаёт из раскрытых ртов тяжелый дух умирания немощи
 и юношеского максимализма кажется они кричали и раньше но
 я была в музыке мы укрывались в прохладе потока в языческой
 тишине
 серым комом лежит под ногами книжка водой сокрыта она суще-
 ствует
 листаемая течением в ожидании ока но уютный покой прохлады
 отменяет необходимость откровенного разговора

Фотография Алексея Кручковского



Э метафизика
питекантропа

реабилитация права на трухлявость

ЮЛИЯ ПОПОВА

Текст Юлии Поповой, в котором старость представляется в качестве немощной бюрократической сборки, с трудом функционирующей в мире изошренных желающих машин

Старость — это место легитимации неловких и постыдных интонаций. В полное распоряжение ему отданы банальная речь и производство этических суждений. Из них собирается приемлемая симптоматика старчества, которая связывается с аскезой, простотой, мудростью и консервацией. Социально оправданный старик должен функционировать в рамках этой сборки. Еще в «Символическом обмене и смерти» Бодрийяр диагностировал ситуацию, в которой старость не получает должного смысла, но дело заключается как раз в обратном: смысл в нее успешно инвестируется.

Само понятие старчества отсылает к христианскому монашеству и имманентного ему запроса на «святую простоту». Христианская логика изобретает старца как идеальную формулу самоотречения, простой и аскетичной жизни, пронизанной интенсификацией духовных сил. Такая формула позволяет успешно эксплуатировать старика в качестве дисциплинирующей, воспитательной и охранительной инстанции.

В этом смысле, например, классический университет — как учреждение бюрократическое — представляет собой господство идеологии старчества, которая одновременно упорядочивает, наставляет и сберегает. Любые проявления «дьявольской изощренности» условной «молодости» редуцируются в университете до «святой простоты» условного старчества. Любая сложность превращается в утрамбованное единство сложности.

Фактически университетский дискурс представляет собой превращенную форму монашеского института старчества, подразумевающего взаимодействие духовного наставника, то есть старца, с послушником. С той лишь разницей, что в превращенном виде

эта форма основывается на наставничестве без бога. Место последнего занимает плавающее означающее «традиция», которое произвольно пристегивается к тому, что позволяет бюрократической, то есть охранительной, «старческой» структуре удерживать свои границы и позиции. Под знаком оберегания этой расплывчатой «традиции» проводятся, например, конференции об особом пути «русского логоса», к изучению предлагается только «канонизированный» корпус текстов и авторов, и так далее. Иными словами, старчество с инвестированным в него смыслом «мудрой простоты» — это, преимущественно, магистральная, правая и консервативная повестка, отмеченная убаюкивающими интонациями по отношению к тому, что против нее направлено.

Это такой трогательный роуд-муви о старике из «Простой истории» Линча, который на шаткой газонокосилке отправляется за сотни километров к большому брату. Ветхая газонокосилка устроена как бюрократическая сборка, которая функционирует с постоянными сбоями, но право на почетную трухлявость — это все, что у нее осталось в условиях натиска ускоряющихся, изощренных, постоянно желающих капиталистических машин.

В этом отношении узурпация старости через изъятие у нее права на аскезу, банальность и простоту как отказа желать все более изощренно (то есть спешить, искать «новое», etc) ликвидирует и возможную линию размежевания с тем, что поддается капитализации. И поэтому худший вариант в условиях критики капитализма — это понижение градуса немощи и дряблости, внедрение старика в практики омоложения, попытки пересадить его с газонокосилки в мощную, скоростную машину.

Такая формула позволяет успешно эксплуатировать старика в качестве дисциплинирующей, воспитательной и охранительной инстанции



Э метафизика
питекантропа

МОЛОДЫМ ЗДЕСЬ НЕ МЕСТО (стариковское гонзо)

ИВАН КУДРЯШОВ

Эссе Ивана Кудряшова о конфликте поколений
в философии и в сфере образования вообще

Начало рассуждения часто лежит в удивлении. И я обнаруживаю в себе такое удивление — удивление тем, с какой легкостью я мыслю старость, несмотря на свои тридцать с копейками. Однако в самом деле, старость — это не статус, это самоощущение. И именно через призму этого самоощущения каждый нащупывает разницу — что между старым и новым, что между дряхлым и молодым. Некоторые уже в детстве и юности оказываются старичками-резонёрами, коим известна если не суть, то форма стариковского мировосприятия. Это мировосприятие столь запросто становится узнаваемой карикатурой, потому что довольно крепко определено как ограниченным набором психологических акцентов (я это называю «старпёрство»), так и ограниченным кругом тем.

Посвятив значительную долю своей жизни философии и образованию, я без всякого сомнения вверил себя и этим темам, и в какой-то степени ощущениям. И к сожалению, приходится констатировать, что устройство этих сфер совсем не youth-friendly.

Отчего же философия — не дело молодых? Не стану витийствовать на тему столь частого рефрена мыслителей о смерти: философия даже на взгляд обывателя — это что-то из области почтенной старости, позволяющей мудрствовать, поучать и смиренно сходить во гроб. Спиноза, Ницше и другие мыслители, восстававшие против этого клише, лишь подкрепляли его устойчивость в академической среде. Выбравшие жизнь были промаркированы как неклассика, что логично прочитать как стремление классики оставить при себе «искусство умирать». Любопытно, впрочем, заметить, что современный тип мышления отнюдь не отказался от вопроса о старости, лишь придал ему отрицательное значение. В самом деле, подумайте только, как часто сегодня

что-то называют «устаревшим». С момента появления культуры модерна миллионы светлых идей и проектов были помечены как спам и отброшены, просто потому что кто-то решил, что они несвременны или несвоевременны. Одержимость молодостью и актуальностью не может обернуться ничем иным, кроме молчаливого присутствия вытесненной старости в разных облициях. В том числе в форме устаревших теорий, которые наше общество привыкло менять подобно вышедшим из моды прическам и платьям. Способность прежних теорий говорить что-то о насущном стремительно падает, но, увы, не столько от изменчивости мира, сколько от неспособности современников читать и перечитывать. Истина? Да оставьте, сударь. Вы что, ретроград?

Однако после полутора столетий герменевтики подозрения утверждение о том, что некая теория безвозвратно устарела, вызывает лишь один простой вопрос — «кто это решил?», а стало быть и — «в чем его интерес?». Без сомнения, и в науке, и даже в философии есть развитие, а с ним и диалектика нового и старого, отжившего и преобразившегося. И все-таки не стоит путать качество и эвристическую мощь теории с маркетингом в области идей. Меня, например, порядком забавляет современный типаж «интеллектуала», небрежно опровергающего теории, о которых он даже ничего толком не знает. Да-да, он прочитал поповую книжку с названием в духе «Декарт нам врал», «Как я побеждаю Платона», «Интеллектуальные уловки у тех, кого я не в силах понять» (впрочем, даже при сдаче коллоквиума по тексту данного шедевра ему бы пришлось натягивать тройку-четверку).

И тут, собственно, можно ловко перескочить к вопросу об образовании. В самом деле, а оно-то почему — тоже про старость? В целом только по одной

И все-таки не стоит путать качество и эвристическую мощь теории с маркетингом в области идей

причине: и в школе, и тем паче в академической сфере непристойно процветает самый страшный смертный грех — гордыня. Большинство преподавателей бессознательно уверены, что обучение — это передача своих знаний (или знаний тех, кто писал учебник) и/или передача своего образа мысли. Как сказал бы Александр Секацкий, тест на реакцию Лихачева-Лосева они бы прошли строго положительно. Прямое или завуалированное «я лучше знаю» — вот и вся суть университетского дискурса, а прочим туда вход заказан. Обостренное современными изменениями чувство самосохранения диктует педагогам старой школы стремление сберечь прошлое в боязни утратить то ценное, что в нем было (а также и утратить свою необходимость). Университеты и школы потеряли монополию на знания, и в массе своей не готовы адаптироваться к реальным изменениям. Не к смене парадигм и актуальных тем (это они умеют), а к радикальной смене аудитории — организации мотивации и способов работы с информацией у новых поколений. На это, конечно, накладываются и системные проблемы последних десятилетий, из-за которых молодые, продуктивные и по-новому мыслящие специалисты по большей части вымывались из вузов и научных структур.

Увы, Школа сегодня не готовит к будущему, в котором жить ее выпускникам, она лишь тонко (а порой и в лоб) подменяет живые запросы на требования сохранить то старое, что понятно самим педагогам. Сама процедура перевода с языка учащихся на язык учителей и обратно многими воспринимается как кощунство. Или оборачивается ненужным заигрыванием и панибратством, т.е. какой-то невозможной помесью диалога и структурного насилия (ведь по статусу и возможностям участники такого диалога не равны). Так уж устроен университетский дискурс, что он способен предполагать наличие знания, где

удобно (даже в сложно закрученных белках и радиошуме с Миранды), но только не в головах еще необработанных учащихся. Учащийся поставлен в позицию того, кому знание нужно вменить, а есть ли у него нехватка по этому поводу — вопрос для подобного дискурса сугубо теоретический. Но чтобы обучать, нужны особые условия: авторитет и уважение, мотивация и понимание, условия и внятные результаты. В эпоху книги и устного слова они были одни, в век интернета и картинок — вроде бы должны быть другие.

Учащиеся живут не в вакууме, в их пронизанном массмедиа мире стандарты и нормы совсем иные. Взять к примеру образ молодых специалистов, которые уже к тридцати всего добились (вспомните типаж из современных боевиков — юная блондинка с докторской по молекулярной биологии, которая по сюжету легко решает проблемы атомной энергетики). Эта стопроцентная лажа, призванная стимулировать современных работников, никуда не исчезает, если над ней просто посмеяться. Идеология (на пару с социальным мифом) работает и чувствует себя отлично, даже если вы решили, что живете в постидеологическом обществе. Ни возраст, ни регалии больше не работают автоматом. Сбылось то, о чем говорили латиняне: ни борода, ни седины больше не делают из вас ментора. И правда, сколько можно путать универ и барбер-шоп? Но педагоги предпочитают судачить о неблагодарности и дурном влиянии видеоигр (которые, меж тем, повысили средний уровень рациональности нового поколения на такой уровень, который вообще не снился всеобщему образованию). Ситуация временами просто патовая: одни замкнуты в своем старпёрском удовольствии от жалоб и нравочений, другие — вместе с бегством от скуки в соцсети избегают также любого систематического образования.

И подобное старпёрство, вытекающее из недопонимания между поколениями, выливается далеко за рамки стен вузов и школ. Конфликт поколений, конечно, не вчера возник, однако почему-то мало кто захотел увидеть сколь резко он помолодел и обострился. Как мне кажется, мое поколение — это первое поколение в России, которое уже в тридцать столкнулось с огромным разрывом в понимании тех, кто всего-то на десять лет младше (раньше это происходило к 40-45 годам, да и то не со всеми и зависело от случая). Развитие современных медиа — это и фактор, ускоряющий смену слэнгов/вкусов/ценностей, но также и условие, благодаря которому происходит столкновение. Даже сетевая самосегрегация не всегда помогает: вы рано или поздно наткнетесь на явления, ставшие массовыми за счет более юной аудитории.

Не стоит недооценивать расслаивающий потенциал новых медиа: сегодня уже не столько возраст, сколько личный опыт определяет то, к какому поколению вы ближе (некоторые, знаете ли, еще в эпоху до интернета живут). Лично я уже второй год с удовольствием естествоиспытателя наблюдаю, как мои сверстники брзжут на тему «что за гребанное поколение пришло в интернет?». Конечно, старым (да еще так рано) никто не хочет себя ощущать. Но, увы, это теперь неизбежно. Однако от людей, связанных с образованием, наукой и культурой, я, честно говоря, ожидал более рефлексивной позиции.

Мои ожидания были напрасны. Взять хотя бы последний яркий пример. В августе 2017 года баттл между Оксимироном и Славой КПСС всколыхнул культурные веси, тверди и хляби. Наконец-то нашлись виновники упадка культуры и всеобщей деградации. В едином хоре первооткрывателей факта, что в рэпе ругаются матом, время от времени

звучали разумные речи о том, что нужно врубаться в контекст. И все же даже регалии разумно говорящих (например, статус директора Института мировой литературы РАН, прямо сказавшего, что Оксимирон «заслуживает серьезного литературного внимания к себе») не возымели воздействия. А дальше больше: Оксимилона в начале 2018 года номинировали на Премию Пятигорского, и возмущению в узких кругах не было предела, звучали даже рассуждения о том, что премию превратили в мусорное ведро. Нет, не из-за содержания — показательные защитники культуры даже не знакомы с тем, что они судят. Просто у них есть стереотип о том, что рэп — это не культура. При этом никто почему-то не возмутился номинацией Жюли Реше, которая пишет абсолютно безответственные и малограмотные тексты, просто чтобы привлечь к себе внимание. Надуманная игра ума с явным плагиатом и передергиванием чужих идей, видимо, никого не задает. А уж как любит называть себя доктором наук по психоанализу эта особа, толком не знающая даже Фрейда, но многократно побеждающая его. Это, кстати, к вопросу о том, кто решает, что устарело: многие до сих пор уверены, что психоанализ кто-то опроверг, а наукообразная психология рулит. Строгие исследования эффективности этих подходов вас удивят — обратитесь к нашумевшей статье в Гардиан (вишенка на торте — название статьи «Терапевтические войны. Месть Фрейда»: знаете, месть — это когда есть намерение вам навредить, нелепо называть мстительным того, кто отговаривал вас от прыганья по граблям). Само собой, такой специалист по психоанализу, видимо, не знает, кто такие психотики и как они способны прочесть ее (якобы) провокационные тексты. Иронично, но именно в эпоху постмодернистской иронии все больше людей, живущих среди нас, не способны ни к иронии, ни к метафоре. Но это ведь не повод париться какой-то ответственностью?

Наверное, именно этому учил нас Пятигорский: он, помнится, был большой фанат стереотипов, чинопочитания и условностей. Меж тем, отнюдь не только номинатор (Анна Елашкина), но и многие другие отмечали, что текст Мирона Федорова в современном формате обращается к той самой теме внутреннего опыта личности, который интересовал Пятигорского и Мамардашвили. Я из скромности не стану приводить свои доводы. Вот, например, Денис Ковалевич (к сожалению, незнакомый мне) в своем ФБ сформулировал это довольно-таки точно:

На мой взгляд, действия Мирона — это задание планки абсолютно взрослой и мега-этичной коммуникации внутри формата, в котором принято вести себя по-детски и оскорблять друг друга. Именно этичной, я не оговорился. Мераб Мамардашвили стоял на том, что «движение выворачивания себя как бы наизнанку» — имеет фундаментальный этический смысл. Марсель Пруст — что без этого выворачивания, то есть, без «экстериоризации предметов своих желаний или стремлений мы создаем вокруг себя и живем в мире ненависти, злобы и войны».

Экстериоризация не в форме социальной истерики или интернет-эмоций, а внутри «крепко сколоченной» формы.

Собственно, в ряде случаев разговор о старых и молодых превращается в попытку определить взрослых и невзрослых. И вот эта истерика, равно как и академический снобизм, отнюдь не похожа на позицию взрослых. Безжалостная сука диалектика переворачивает все с ног на голову. Страх и защитные реакции вообще хреновый советчик в жизненных выборах, но что делать, если вокруг довольно агрессивная среда. Я не просто так упомянул выше модерн с его вытеснением всего

устаревшего: сегодня в культуре нет места тем, кто действительно постарел (а это со многими рано или поздно происходит). Теперь принято молодиться и стесняться своего возраста (если он чуть выше 30-35), и даже от седых голов ожидают, что они будут доказывать свою мощь и потенцию, словно подростки на вписке. Вот эти подростковые чудачества мы и наблюдаем в поведении и мышлении современных взрослых, особенно в соцсетях, которые явно не заточены под степенное и добродушное ворчание умудренных.

При этом нынешние тридцати-сорокалетние все-таки вынуждены на фоне более юного племени как-то рефлексировать тему старения. И как ни странно здесь на помощь приходят сериалы и видеоигры, чуть реже фильмы и книги. Буквально за последние 5-7 лет вышло несколько игр со стареющими героями, рассуждающими о старости и ее смысле (Starcraft 2: Wings of Liberty, Max Pain 3, Last of us, Witcher 3 и, конечно же, недавние инди-игры This is the police и Old Man's Journey). В играх предыдущих двух-трех десятилетий это были бы всего лишь эпизодические персонажи, теперь же интерес к ним вполне логичен, если вспомнить, что средний возраст геймера во многих странах достиг 32-37 лет. Через эмоциональную вовлеченность игра действительно может научить тем вещам, которые еще не получены в реальном опыте. Например, для меня как фаната Ведьмака очень важным стало прозвучавшее в последней части кредо (озвученное Крахом ан Крайтом) об отношении отцов и детей. Старикам не нужно все время спасать мир, в какой-то момент нужно отдать это молодым. И это чертовски актуальная мысль для тех, кто уже обзавелся детьми, потому что самостоятельность воспитывается с пеленок, а не автоматом даруется с получением паспорта или аттестата.

Со старостью на деле все просто. Физиологические закономерности однажды обесточат и ум, и сердце, но пока этого не случилось, можно попробовать не торопить события

Однако не все готовы доверять детям, и уж тем более не все готовы принять горькую пилюлю своего устаревания (вытеснять-то проще). Я бы махнул рукой и сказал, что это личный выбор каждого, если бы не одно НО. Процветание гордыни, вытеснения и недоверия молодым в образовании — это, конечно, не только печально, но и чревато долгосрочными последствиями. Вместо попытки заинтересовать и заинтересоваться друг другом в учебных аудиториях зреет холодная война. Причем одна из проблем именно в том, что раньше работало хорошо — в позиции знающего, в авторитетном обладании знанием о мире и другом. Сегодня такое знание все чаще раздражает молодых, и становится одной из препон для коммуникации. Конечно, еще остаются оазисы и заповедники живого общения, но тенденция склоняет к скептицизму.

Парадокс сегодняшнего образования никого не забавляет: люди знания не знают, что делать с новым поколением. И пока они не знают, цепляние за прошлое будет самым естественным выбором. Так что не верьте победным реляциям и гуманистическим декларациям — молодым здесь не рады. И любой рекрутинг проходит на основе стариковских критериев и старпёрских качеств. Но у молодых, равно как и у всего действительно нового, есть одно важное качество — им плевать на это. Может, поэтому вопреки сентенции римлян и средневековых христиан, мир еще не стар. Мир куда-то движется, но я не дам зарока, что в правильном направлении (не настолько я молод, наивен и глуп, чтобы раздавать подобные обещания).

А что же старость? Со старостью на деле все просто. Физиологические закономерности однажды обессточат и ум, и сердце, но пока этого не случилось, можно попробовать не торопить события.

Вы — старый, если ваш ум одряхлел, а чувства стали однообразны и склонны к регистрации лишь недовольства (но вам, конечно, кажется, что это мир какой-то не такой)

Вы — старый, если вам совершенно не интересны ни мир, ни новые поколения, и вы с удовольствием окружили бы себя нетленной классикой (под которой большинство, как это ни смешно, понимают хиты своей молодости, а отнюдь не безотносительно чьих-то стандартов самолично отобранные шедевры из всего мирового искусства).

Вы — старый, если ваш ум одряхлел, а чувства стали однообразны и склонны к регистрации лишь недовольства (но вам, конечно, кажется, что это мир какой-то не такой).

Вы — старый, если вам больше некуда расти и развиваться (по крайней мере, если вы так для себя решили).

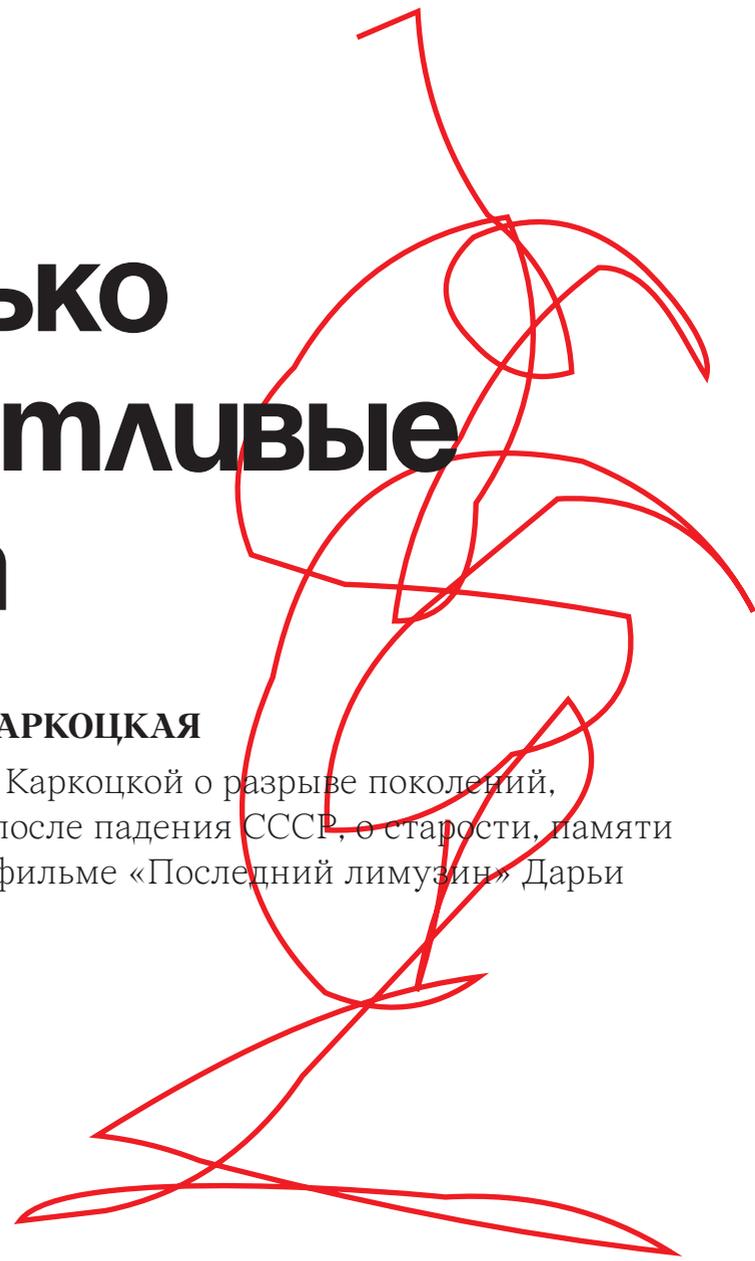
Впереди у вас лишь неопределенный срок для могильных прелюдий.

Фотографии Насти Обломовой и Кирилла Кондратенко.

ТОЛЬКО СЧАСТЛИВЫЕ ЛИЦА

АНАСТАСИЯ КАРКОЦКАЯ

Эссе Анастасии Каркоцкой о разрыве поколений, наметившемся после падения СССР, о старости, памяти и ностальгии в фильме «Последний лимузин» Дарьи Хлесткиной



[1] Нора П. Всемирное торжество памяти. Неприкосновенный запас. 2-3(40-41), 2005 // Журнальный зал.

[2] Норрис К. Де-конструкция versus постмодернизм: эпистемология, этика, эстетика. Неприкосновенный запас 2014, 6 (98) // Журнальный зал.

[3] Лиотар Ж.-Ф. Состояние постмодерна. СПб.: Алетейя, 1998. С. 10-11.

[4] Там же. С. 10-11.

[5] СИНЕМА ВАРИТЕ | Россия, 2014. Документальное кино в переломный год / Colta.ru и Фонд имени Генриха Белля, 2014

В 2002 году Пьер Нора манифестировал мировое торжество памяти и как следствие ускорение времени: «Мир затопила нахлынувшая волна воспоминания, прочно соединив верность прошлому — действию или воображаемому — с чувством принадлежности, с коллективным и индивидуальным самосознанием, с памятью и идентичностью». [1] Над будущим повисла неопределенность: травматический опыт XX века доказал невозможность разума экстраполировать события прошлого на будущее [2]. Метанарратив эпохи просвещения, выраженный в эмансипации разума, как и идея торжества коммунизма, утратили функцию легитимации [3], а вместе с ними пропала вера в прогресс, истину и вечный мир. [4]

Невозможность предвидеть будущее предполагает тщательное сохранение разнообразных артефактов прошлого. Память обещает преемственность, но из-за отсутствия критического осмысления «сохраняемых мест» в коллективной памяти целого поколения с преемственностью происходит серьезный сбой. И вместо идейного плюрализма и всеобщей толерантности на наших глазах усиливаются процессы отчуждения от прошлого, непонимания опыта предыдущих поколений.

Прерванная преемственность, замалчивание проблем и цензура привела не только к краху СССР или «геополитической катастрофе», как сказал глава современного институционального-преемника ушедшего государства, но к катастрофе потери сегодняшнего дня, к безудержной ностальгии. Как справедливо отметил Илья Будрайтскис, расставание с советским состоит в том, «чтобы распаковать советское на составляющие» [5], а современная отстраненность от проблемы проработки и осмысления травматического опыта тоталитарного прошлого — это «стандартное отношение к советскому, смесь ностальгического

чувства, которое никак не может быть артикулировано, и позиции наблюдателя, который испытывает даже облегчение от того, что умирание, маргинальность и ничтожество этих институций избавляют его от необходимости жестокого, осознанного к ним отношения» [6].

[6] Там же.

Однако, согласно Алейде Ассман, ведущему специалисту мемориальной культуры, замалчивание реальных проблем между поколениями приводит к невозможности критически воспринимать настоящее, поскольку «мы никогда не являемся современниками исключительно своей собственной эпохи, ибо пользуемся опытом прежних времен, можем критически усваивать знания и умения, накопленные на прежних этапах человеческого развития. Эти качества культуры за счет взаимодействия между тем, что она на время откладывает в сторону, и тем, к чему возвращается вновь, позволяют держать принципиально открытой границу между прошлым и настоящим» [7].

[7] Ассман А. Длинная тень прошлого. Мемориальная культура и историческая политика. М.: Новое литературное обозрение, 2014. С. 61.

Иосиф Бродский в Нобелевской речи обозначил важнейший тезис для развития искусства в тоталитарных коммунистических странах — это преемственность поколений, которая должна быть сохранена несмотря на режим и вопреки идеологии. «Одна из заслуг литературы и состоит в том, что она помогает человеку уточнить время его существования, отличить себя в толпе как предшественников, так и себе подобных, избежать тавтологии, то есть участи, известной иначе под почетным названием “жертвы истории”. Искусство вообще и литература в частности тем и замечательно, тем и отличается от жизни, что всегда бежит повторения» [8].

[8] Бродский И. Нобелевская лекция // lib.ru

Так фильм Дарьи Хлесткиной «Последний лимузин» становится в один ряд с другими художественными произведениями, пробивающимися сквозь

поколенческий разрыв, вызванный непредсказуемым крушением системы, произведениями, задачей которых является осмысление чувств людей, заставших катастрофу потери будущего. Не побоюсь поставить фильм в один ряд с серией «Голоса утопии» Светланы Алексиевич или перестроечной кинематографической волной как передовой линией мобилизации позднесоветского общества.

«Последний лимузин» — фильм о последней надежде умирающей институции в центре Москвы, города в городе — с автобусным парком, столовыми, детскими садами и стаями кошек, присутствие которых в качестве наблюдателей также является одним из элементов трагедии.

В 2012 году в специальное бюро АМО ЗИЛ поступил заказ на изготовление представительного правительственного автомобиля старого образца — лимузина для президента («вождя народа»), открывающего Парад Победы. Для изготовления в конструкторное бюро были вызваны бывшие сотрудники пенсионного возраста. Пока режиссер в течении года находилась в поиске завершающей сюжетной сцены, финал не заставил себя ждать: в 2012 году правительство, как предполагается, в лице министерства обороны отказалось от зиловских лимузинов в пользу частного бюро, а в 2013 году закрылся и сам завод.

«Страна разрушена, а ЗИЛ еще живой! Живой за счет людей!» — говорит один из сотрудников в начале картины за рулем стареньких жигулей, проезжающих сквозь территорию гигантского завода.

Для сотрудника завода, заставшего XX век во всех его травматических проявлениях, закрытие АМО

ЗИЛ встает в один ряд с распадом СССР, так как по характеру своего воздействия является шоковой и непредсказуемой ситуацией, непонятной, без возможности строительства будущего. События из памяти мифологизируются, и целые группы людей попадают в ностальгическую завесу из-за необъяснимых изменений, затронувших их привычную частную жизнь.

«Для нас этот проект изначально был не коммерческим проектом, а делом чести, делом престижа, что наши именно автомобили опять, вновь будут принимать парады... Коммерческий интерес был на втором, третьем плане... Его не было вообще. Нам было важно построить машину, которая будет использоваться на парадах победы».

Выход на пенсию был обусловлен естественным ходом вещей. Многие продолжали трудиться ради дополнительного заработка, ради сохранения привычного уклада жизни. Неестественным стал сам жест отказа правительства от произведенных лимузинов.

Так, в конструировании современного ностальгического мифа основополагающим является идеализация — только «хорошие» аспекты идеализированного прошлого подлежат реконструкции[9], ностальгия по «золотому веку» тесно связана с идеализацией. Страх перед неизвестным, ностальгия по былой стабильности провоцируют идеализацию прошлого, что представлено еще в библейском сюжете, в книге «Исход», когда евреи начинают тосковать по Египту, потому что, несмотря на то, что там они были рабами, они точно знали, кем являются[10].

Герои фильма, идеалисты-рабочие, в очередной раз подтверждают тезис А. Юрчака о ностальгии, сформировавшейся еще в эпоху «позднего социализма»:

[9] Taratuta E. Social Meaning of Nostalgia // Reports from the Department of Philosophy / Vol. 27 / University of Turku, Finland.
[10] Вторая книга Моисеева. Исход. (Гл. 14-18) Russian Bible / Russian Bible Societies, 1991. С. 73-76.

Страх перед неизвестным, ностальгия по былой стабильности провоцируют идеализацию прошлого, что представлено еще в библейском сюжете, в книге «Исход»

«значительное число советских граждан в доперестроечные годы воспринимало многие реалии повседневной социалистической жизни (образование, работу, дружбу, круг знакомых, относительную неважность материальной стороны жизни, заботу о будущем и других людях, бескорыстие, равенство) как важные и реальные ценности советской жизни» [11]. Эти смыслы человеческого существования становятся организующим фактором «постсоветской ностальгии», а вовсе не тоска по государственному строю или идеологическим ритуалам.

[11] Юрчак. А. Это было навсегда, пока не кончилось. Последнее советское поколение. М.: Новое литературное обозрение, 2014. С. 45.

Когда заказ внезапно отменили, когда автомобили оказались не нужны (и уже сделаны в частной мастерской), один из рабочих говорит о том, что он все-таки остается коммунистом, а в ответ эхом по пространству мастерской гремит возглас седых разочарованных героев: «Да пошел ты в пизду с вашим коммунизмом!».

Дарье Хлесткиной удалось очень точно уловить трепет поколения рабочих перед гигантом-заводом, вторым домом, второй реальностью, ностальгический трепет, сформировавшийся в ходе распада всей системы в целом. Светлана Алексиевич объясняет это страхом перед новой реальностью, «которая нам открылась, к которой мы не готовы и перед которой беспомощны. И поэтому лучшая защита, как нам представляется, — составить кубики не из событий прошлого даже, а из наших мифов. Нас выбросило из собственной истории в общее время» [12].

В фильме представлены сотрудники, как бы законсервированные во времени в городке ЗИЛ. Завод сохранял производство в течение 20 лет после распада

СССР. В течение этого времени предприятие не получало заказ на производство лимузинов — честь и гордость инженеров.

Как мы видим, ЗИЛ не имеет будущего, в нем нет будущего для рабочих и инженеров. Кто-то пьян в рабочее время, для кого-то завод — это безопасное место, где идеализация и ностальгия становятся жизненной стратегией, для иных он представляет собой возможность почувствовать себя вновь необходимым для страны, вновь собрать лимузин из деталей, известных им одним.

Согласно Х. Арендт, «отсутствие эмоций не является причиной рациональности и не усиливает ее. «Отстраненность и равнодушие перед лицом невыносимой трагедии» действительно могут быть «ужасающими» в тех случаях, когда они являются не результатом самоконтроля, а явным проявлением непонимания. Чтобы реагировать разумно, нужно прежде всего «переживать», и противоположность эмоциональности — это не «рациональность», чтобы это слово ни означало, но либо неспособность к переживанию (патологический феномен), либо сентиментальность (извращение настоящего чувства)» [13]. Отстраненности и равнодушию способствовали государственные структуры и их представители, отказавшись от готовых автомобилей.

Однако у современного зрителя герои фильма, как и герои С. Алексеевич, вызывают сострадание, сочувствие, позволяющее тоньше оценить переживания предшествующего поколения, понять и принять, сгладить углы.

Документальное кино, как и любое другое, в первую очередь конструируется его зрителем. Другими словами, не является безоговорочной правдой жизни.

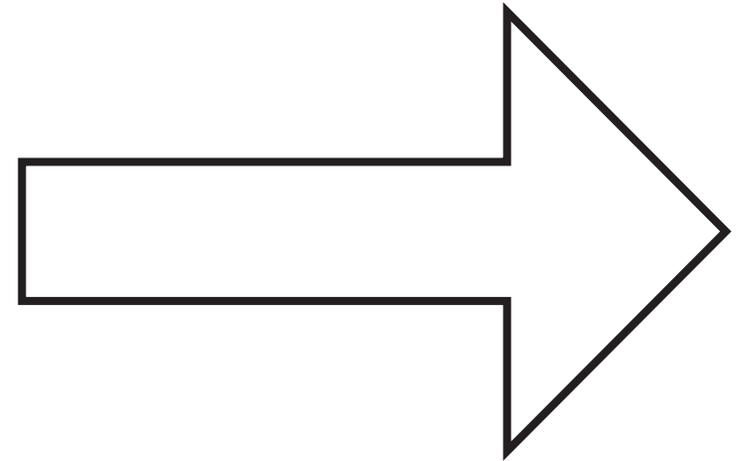
Документальное кино, как и любое другое, в первую очередь конструируется его зрителем. Другими словами, не является безоговорочной правдой жизни

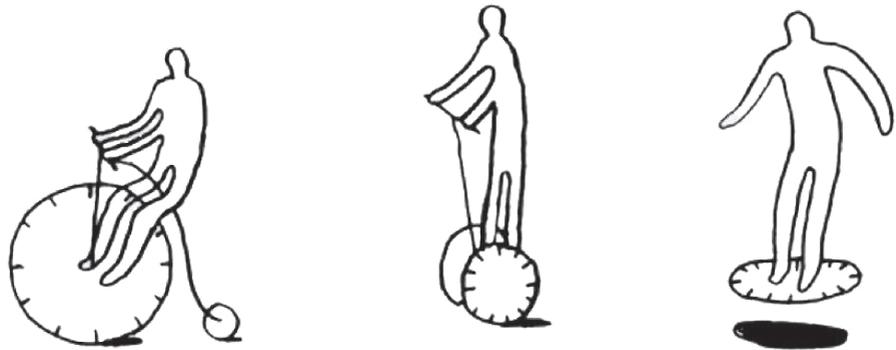
[13] Арендт Х. О насилии. - М.: Новое издательство, 2004. С. 74-75.

Однако объектив Дарьи Хлесткиной представляется связующим звеном поколений. И СССР, и АМО ЗИЛ воспроизводили модель строительства счастливого будущего и давали определенную перспективу гражданам и горожанам. И фильм «Последний лимузин» как модель конструирования реальности является отражением распада СССР с опозданием на 20 лет.

Сегодня на месте памяти и ностальгии по АМО ЗИЛ правительство Москвы согласовало проект жилого комплекса «ЗИЛАРТ», в рекламе которого используются мотивы «зомби-апокалипсиса», где зомби являются исключительно пожилыми людьми. Более того, все начинается с укуса человека в спецодежде Николая Баскова, поющего гимн «современности»: «Новое место, новые краски, новые люди новой формации... Огромное сердце в центре столицы, и только счастливые лица!». В новой визуальной репрезентации пространства бывшего АМО ЗИЛ нет места старости, даже в лице представителей российской эстрады, чьи морщины скрывает грим.

В качестве иллюстраций использованы кадры из фильма «Последний лимузин».





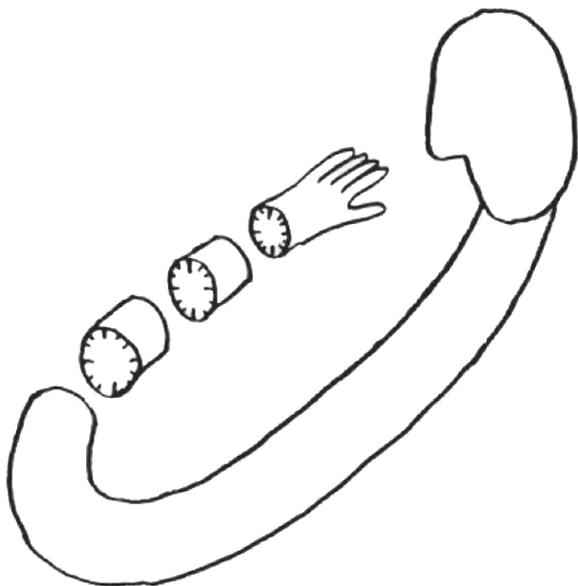
радио
в пещере



темпоральная темпоральная политика для политика для устаревших устаревших

ПАВЕЛ ЮШИН

О политике времени как практике старости,
несинхронизме нечеловека по имени 62301
и обязательствах перед его диалектикой



Следующие замечания, посвященные некоторым соответствиям между «временем», «политикой» и «старостью», удобно начать с двух относительно недавних тематических высказываний: предлагаая контрастные конфигурации известного противостояния Древних и Новых, они, по существу, описывают эффекты одного и того же процесса — затянувшегося падения темпорального режима Модерна. В лекции «о старости в эпоху инфантилизма», эпиграфом к которой послужило название фильма «Старикам тут не место», Виталий Куренной определил современную ситуацию как воплощенную (и извращенную) грезу Трощкого о перманентной революции: машина рыночных инноваций генерирует «жуткую, невозможную динамику, которая настолько высока, что входит в противоречие с базовыми антропологическими характеристиками человека». «Люди не просто не стареют, они не взрослеют» — те же, с кем это все-таки случается, не поспевают за скоростью модернизации и оказываются вытеснены в незаметные для 14-летних сотрудников Google «складчатые образования» социополитического ландшафта. Эту картину общества без старых любопытно сравнить с той, которую ранее предлагал Марк Фишер, чья книжка о капиталистическом реализме открывается обсуждением фильма Альфонсо Куарона «Дитя человеческое» — дистопии про пораженное массовым бесплодием общество без молодых. Опираясь на Фредрика Джеймисона, Фишер акцентирует ощущение не возгонки, но болезненной остановки времени: «Когда все подчинено постоянной смене мод и модийных образов, ничто уже не способно изменяться»; находящаяся в состоянии «депрессивной гедонии» молодежь перестала быть агентом исторического прогресса, и «будущее готовит нам лишь повторение и повторные искажения одного и того же». Фишера мало заботил феномен старости как таковой, а потому, по-джеймисоновски прочитывая фильм Куарона

[1] К этому эпитету, как бы невзначай брошенному Фишером, я обращаюсь далее.

[4] Парафраза витгенштейновского афоризма из посмертно изданных заметок «О достоверности». «Подобная остановка для размышлений, — пишет Алейда Ассман. — позволяет войти в новое настоящее» (Ассман А. Распалась связь времен? Взлет и падение темпорального режима Модерна. М.: Новое литературное обозрение, 2017. С. 30.)

[6] См.: Osborn P. Politics of Time: Modernity and Avant-Garde. L.: Verso, 1995.

[7] Цит. по материалам круглого стола «Политика времени: анахронизм и современность» (Нижний Новгород, ГПСИ «Арсенал», 14 мая 2015 года)

как аллегория, схватывающую вышеописанное положение дел, он не отметил, что там как раз есть персонаж, сохранивший «слабую мессианскую» [1] силу — веселый старик-аутсайдер, бывший политический карикатурист, комфортно расположившийся в выпавшем из своего угрюмого времени доме на обочине и успешно выстраивающий гибкие, хотя и хрупкие, торговые отношения с опрессивной полицейской структурой

Нетрудно заметить, что разница между ускоряющимися молодыми Куренного и отсутствующими молодыми Фишера (при всем различии национальных контекстов) состоит лишь в том, что первые работают в технологической компании, последнем прибежище модернизации, тогда как вторые слушают лекции по философии в further education college (от депрессии не застрахованы, конечно, ни те, ни другие). Интереснее дело обстоит со стариками. Как известно, одна из основных проблем старости — усугубляющаяся, чему и посвящена отчасти лекция Куренного, в описанной Фишером постфордистской ситуации [2] — это дефицит мобильности. Однако помимо затрудняющейся пространственной мобильности, что, как говорит поэт, не взыскует никакого спрашивания, речь идет также о мобильности темпоральной [3]. И здесь внимательный куароновский старик предлагает рассеянным и отстающим простую, но ценную интуицию: «Там, где вы проходите, я останавливаюсь» [4]. Неспособность старости угнаться за уходящим временем, критическое несоответствие с ним, нередко описываемое посредством хитроумного политтехнологического изобретения под названием «анахронизм» [5], заставляет обратить внимание на то, что Питер Осборн именовал политикой времени [6]. «Современность» — фикциональная конструкция, регулирующая «разделение между настоящим и прошлым внутри настоящего» [7]

— пронизана политическими логиками, которые деактуализируют, вытесняют и обесценивают «несовременное». Однако те, кто устарел, способны мобилизовать свою несовременность или — пользуясь другим переводом термина *Ungleichzeitigkeit* — несинхронность. Будучи понят должным образом, несинхронизм становится инструментом взлома и перекалибровки времен, и с этой точки зрения темпоральная политика представляется важнейшей практикой старости.

Не притязая на сколько-нибудь серьезное STS-исследование, вопросом о политике времени можно задаться с помощью в некотором смысле не менее политически уязвимого, чем старый человек, но зато вполне мобильного существа — пожилого нечеловека по имени Nokia 6230i, которому случилось обеспечить часть моих коммуникаций последние несколько лет. Личная страница в Википедии отмечает, навеяв меланхолию, вехи биографии: «Был выпущен в 2004 году. Позиционировался как модель бизнес-класса, считался флагманским аппаратом». Думается, что воображаемый «симметричный» [8] антрополог, по тем или иным причинам взявшийся расчертить плоскую онтологию моей повседневности, довольно скоро обнаружил бы не предусмотренную мануалом функцию 6230i: параллельно прокручиванию ленты фейсбука — GPRS — он активно переводит собственную несинхронность в мою несовременность, периодически становящуюся предметом комментария и темой невинного *small talk*'а. Этот последний, хотя бы в силу его нарочитой невинности, кажется любопытным рассмотреть внимательнее — правда, не в стиле гофманианской социологии («мобильный телефон как средство саморепрезентации в межличностной коммуникации» и т. д.), а с позиций того же воображаемого антрополога, увлекшегося проблемами темпоральности.

[8] См.: Латур Б. Нового Времени не было. Эссе по симметричной антропологии. Пер. с фр. Д. Я. Калугина; науч. ред. О. В. Хархордин. СПб.: Издательство Европейского университета в Санкт-Петербурге, 2006.

[9] Тайлор Э. Б. Первобытная культура. М.: Политиздат, 1989. С. 13.

[10] Кое-что о рецепции тайлоровского понятия Льюисом Морганом, Марксом и Энгельсом см. в работе: Маслов Б. Эволюционизм как проблема революционного сознания // Русская интеллектуальная революция 1910–1930-х годов: Материалы международной конференции (Москва, РАНХиГС, 30–31 октября 2014 г.). М.: Новое литературное обозрение, 2016. С. 34–35.

[11] Ветер из «Windy City» приносит имя Александра Веселовского.

Так, взятая в качестве глубинного интервью, совокупность речи о 6230i свидетельствует о том, что большинство информантов воспринимают его как двойко понятый анахронизм. С одной стороны, это «пережиток» в том безобидном смысле слова *survival*, что ему изначально придавал Эдвард Тайлор — «живое свидетельство или памятник прошлого» [9], которое в силу привычки переносится на современную «стадию» исторического развития. Ясной становится часто выказываемая реакция удивленного умиления: артефакт далекой древности, 6230i возбуждает у владельца смартфона искренний этнографический интерес, а в иных случаях действует не хуже печенья Мадлен, провоцируя каскад воспоминаний юности, безошибочно облачаемых в романную речь (о подобном поэтическом подъеме, который сопровождает моральное, то есть чисто экономическое, устаревание технических объектов, говорил Жильбер Симондон). С другой стороны, это «пережиток» в чуть более позднем марксистском [10], а далее советском, смысле — застрявшее в настоящем прошлое, явно или неявно грозящее будущему. Рефреном звучит *ma jeunesse est finie*, и организованный темпоральным порядком модернизации *sensus communis* делает практически немислимый добровольный отказ от условного iPhone X в пользу Nokia 6230i, который лишь по ряду цивилизационных недоразумений продолжает бытовать за пределами технологической кунсткамеры. Отсюда вопрос, чаще всего следующий за сентиментальным флешбеком: почему бы, «если есть возможность...», не обзавестись чем-нибудь более современным?

Поле напряжения между двумя указанными значениями понятия «пережиток» [11] могло бы, как кажется, пригодиться для компаративных исследований дискурса о старости. Однако последний вопрос возвращает нас, и каждый раз — меня, к проблеме определения современности. Что значит быть — более

или менее — «современным»? В некотором смысле, наиболее эксплицитно сформулированном в размышлениях Мишеля Фуко о Просвещении, ответом становится сам по себе акт проблематизации, полагаемый основой определенного (Фуко называет его, конечно, «философским») этоса. Тогда несинхроничный гаджет — или, скорее, несинхронизм как гаджет, на манер анахронизма у Джорджо Агамбена^[12] — оказывается инструментом подключения к современности, которая требует удержания рефлексивной дистанции по отношению к собственному времени («современное несвоевременно») и постоянного археологического (в интересном^[13] смысле слова) усилия. Современность, подобно истории, конституируется выходом из себя самой — и важна здесь, опять же, не столько несинхроничная техника (хотя к советам Симондона стоило бы прислушаться), сколько техника несинхроничности.

Такая парадоксальная диалектика, конечно, подрывает ходячие представления о современности, но вместе с тем порождает совершенно политически беспомощное ощущение её ускользания. В одной из наиболее интересных статей тематического номера «Социологии власти» Игорь Кобылин пишет, что «сегодня неуловимость «современного» уже стала массовым переживанием: о том, что актуально, с чем необходимо синхронизировать свою жизнь, мы узнаем только через специальные инстанции — в новостях, на выставках contemporary art или в модных журналах»^[14]. Таким образом, согласно Кобылину, «вся современная ситуация с «современностью» может быть описана в духе лакановской теории взгляда. Современность смотрит на нас откуда-то извне, из некоей недостижимой точки. Но именно этот «взгляд» мы перехватываем, именно в этой оптике присвоенного чужого взгляда смотрим на окружающий мир и самих себя»^[15]. Как нередко случается,

[12] Агамбен Дж. Что современно? К.: ДУХ І ЛІТЕРА, 2012. С. 46.

[13] Там же. С. 55-56.

[14] Кобылин И. История и топология: падение и взлет анахронизма // Социология власти. №2. 2016. С. 18.

[16] Олейников А. Цит. соч. С. 12-13.

[17] Бевернаж Б. Аллохронизм, равенство во времени и современность. Критика проекта радикальной современности Йоханнеса Фабиана и доводы в пользу новой политики времени // Социология власти. №2. 2016. С. 193.

[19] Там же. С. 45.

[20] Драгомощенко А. Тавтология. М.: Новое литературное обозрение, 2011. С. 216.

сказанное в примечании удивительным образом не соответствует основному содержанию статьи, где обсуждается «вопрос о совместимости критического потенциала анахронизма с перспективой политемпоральной онтологии, которая возникает в ходе критики линейного времени модерна»^[16].

Проблема инструментализации анахронизма заключается в том, что его критический потенциал разбивается о привычную стрелу линейного времени прогресса и в известном смысле ею переприсваивается. Наглядной иллюстрацией этой проблемы может послужить фильм Кристофера Рота и Армена Аванесяна «Hyperstition», герои которого занимаются неустанной пересборкой координат прошлого-настоящего-будущего, в результате регистрируя неудачу всего предприятия — безуспешного постольку, поскольку оно осуществляется в рамках «базового» или, как его называет Бербер Бевернаж, «референциального времени»^[17]. Это заставляет думать о том, что по-настоящему насущной задачей критической мысли о времени является не уничтожение, например, будущего (что предлагается некоторыми современными теоретиками), но отказ от «прошлого», «настоящего» и «будущего» вместе взятых и избрание иных, неизбежно^[18] пространственных темпоральных моделей. Таких, например, где время будет пониматься как определенная форма пространственной конфигурации или, пользуясь терминами Луи Альтюссера, как эффект и даже идеологическая проекция внутрисистемного динамизма^[19]. Пролиферация и усвоение подобных моделей позволили бы, с другой стороны, «[о]ценить [саму] местность как бесконечное, но сладостное усилие»^[20] по производству времени.

В рамках этого небольшого текста, как водится, нет никакой возможности подробно обсуждать плоды

[21] Бевернаж Б. Цит. соч., с. 193.

направленного в соответствующую сторону воображения, будь то (компромиссный, по мнению Бевернажа [21]) гиперсистематизм Альтюссера, ритмичные атомные вихри Мишеля Серра или постделезиянская топология Мануэля Деланды, которую комментирует Кобылин. Укажу лишь на одно желательное терминологическое смещение: дефективному «анахронизму», теряющему всякий смысл вне линейной хронологии, следовало бы, как кажется, предпочесть «несинхронизм», с помощью которого Эрнст Блох пытался представить историю как многомерное, мультитемпоральное и полиритмичное пространство, открытое для политического действия [22]. Как и Альтюссер, Блох не удержался от соблазна, питаемого модернистской верой в возможность революции, редуцировать множественность времен к утопическому *communistiche Sprache*. Однако в нынешней ситуации, когда неудачный опыт Нового Времени едва ли позволяет всерьез говорить как о модернизации, так и о революции, намеченная им диалектика несинхронизма остается перспективным инструментом темпоральной (пере)ориентации.

Стоит ли говорить, что для лакановского «взгляда» тут не остается никакого места. Мы, действительно, постоянно синхронизируем свою жизнь с тем, «что современно», посредством тех или иных инстанций (упомянутые новости, выставки, журналы), однако они настолько же не «специальны», насколько не трансцендентны (список можно запросто продолжить, например, предельно демократичными каналами Youtube и т. д.) Пользуясь привычными метафорами, можно сказать, что отдельно взятая «современность» разлита в разного рода сетях — не в последнюю очередь социальных — кристаллизуясь в результате той или иной цепочки устойчивых синхронизирующих(ся) практик, которые и обеспечивают структуры темпоральной мобильности. Άργος:

вероятно, некоторое представление об устройстве подобных структур можно было бы получить, обратившись к тому же 6230i, точнее — к использующейся им «сотовой» технологии сетей подвижной радиотелефонной связи.

Иллюстрация из кн. Agar J. Constant Touch: A Global History of the Mobile Phone. Cambridge, UK: Icon Books, 2003.

Согласно типологии «настоящего», которую предлагает Алейда Ассман, в такой перспективе время будет пониматься «архаически» — как время, которое «наполнено действиями... задающими качественную множественность темпоральности и различные её ритмы» [23]. Так, например, «день складывается из череды отрезков настоящего, протяженность которых измеряется совершающимися в них действиями и состоит из них» [24]. Говоря о таком времени в диапазоне дня, Ассман полагает составляющие его действия исключительно рутинными и шаблонными, не требующими сфокусированного внимания — «время принимать душ, время утреннего кофе, поездки на автобусе, время сигареты, совещания, беседы, ужина, время для игры в карты и бутылки вина» [25] — что заставляет её перейти к различию между «содержательным» и «пустым» временем, хрестоматийной иллюстрацией которого служат сетования (не) прибиравшегося в комнате Льва Толстого, с легкой руки Виктора Шкловского сыгравшие непомерно важную роль в становлении современной теории литературы и, возможно, эстетики вообще. Последняя же убедительно показывает, что на деле «предметом пристального внимания может оказаться все, что регистрируется нашими органами чувств и вызывает у нас интерес: люди, животные, ландшафты, знаки случайности» [26], а спортивное соревнование (и потенциально любая ситуация вообще) «предъявляет,

[23] Ассман А. Распалась связь времен? Взлет и падение темпорального режима Модерна. М.: Новое литературное обозрение, 2017. С. 26.

[24] Там же.

[25] Там же.

[26] Там же. С. 30.

моделирует и тематизирует восприятие времени за счет приемов ускорения или замедления... концентрации событий или их разреженности»^[27] не хуже театрального спектакля.

[27] Там же. С. 29.

Таким образом, дискретные действия «настоящего» всегда образуют сложные мультитемпоральные и полиритмичные конфигурации, синхронизирующиеся в ту или иную «фикцию современности»^[28] — и механизмы её политизации, коль скоро границы между политикой и эстетикой давным-давно проницаемы, могут работать посредством расширения диапазонов эстетического внимания, за которое и разворачивается настоящая борьба. Сам акт синхронизации — дизъюнктивный синтез, учреждающий со-временность одного и не-со-временность другого — должен быть понят как политический акт. Именно в этом смысле несинхронизм оказывается тем критическим инструментом, который позволяет осуществить взлом темпоральной структуры, эксплицируя стоящие за ней политические ставки — и является залогом победы *les Anciens* над *les Modernes*.

В заключение вернусь к оброненному Фишером замечанию о том, что нынешнюю «долгую темную ночь конца истории» — пресловутый «презентизм»^[29] — характеризует утрата «слабой мессианской» надежды, что вполне прозрачным образом отсылает к мессианизму Вальтера Беньямина и его знаменитым тезисам «О понятии истории». Мне, однако, в том числе по случаю издания книги «Оставшееся время: Комментарий к Посланию к Римлянам», хотелось бы упомянуть агамбеновскую интерпретацию мессианского времени, которое он толковал при помощи предложенного Гюставом Гийомом времени «оперативного» (*temps opératif*). В одном из ключевых

[29] Артог Ф. Порядок времени, режимы историчности. Пер. с фр. А. Беяк // Неприкосновенный запас. 2008. № 3(59).

пассажей Агамбен суммировал различие между хронологической и мессианской темпоральностями следующим образом:

«Мы можем дать первое определение мессианского времени: это время, которое требуется времени, чтобы прийти к концу, — или, точнее, время, которое мы задействуем, чтобы довести до конца, завершить наше представление о времени. <...> Оно есть оперативное время, подгоняющее время хронологии, прорабатывающее и трансформирующее его изнутри, время, требующееся нам, чтобы довести время до конца, — и в этом смысле: время, которое нам остается. И если наше представление о хронологическом времени как времени, в котором мы существуем, отделяет нас от нас самих, превращая, так сказать, в бессильных зрителей самих себя, безвременно взирающих на убегающее время, в вечной нехватке самих себя, — то мессианское время, как оперативное время, в котором мы схватываем и завершаем наше представление о времени, — это время, которым мы сами являемся, а значит, это единственное реальное время, единственное время, которым мы располагаем».^[30]

[30] Агамбен Дж. Оставшееся время: Комментарий к Посланию к Римлянам. Пер. с итал. С. Ермакова. М.: Новое литературное обозрение, 2018. С. 92.

При этом важно, что мессианское время — пульсирующее внутри времени хронологии, готовое вырваться в любой момент и произвести неуловимое смещение, являющееся «во всех смыслах решающим»^[31] — это результат трансформации последнего, которую оно испытывает, оказавшись в позиции остатка. Иными словами, опыт мессианского времени, времени действия *par excellence*, открывается нам буквально в модальности *deadline*'а (тут следует лишить это словечко негативных институциональных коннотаций) — в «последний момент», длительностью которого запускается известный подъем душевных сил, когда «время сжимается и начинает

[31] Там же. С. 94.

[32] Там же. С. 93.

[33] Поостережемся аналогий с юнгианским Synchronizität...

кончатся» [32]. И кому, казалось бы, подобная модальность ближе — подобная технология синхроничности [33] доступнее — чем старикам?

[2] См. Фишера про double bind постфордизма: «Работа и жизнь становятся нераздельными. Капитал преследует вас во снах. Время перестает быть линейным, становится хаотичным, разбивается на пунктирные отрезки. Нервные системы перестраиваются точно так же, как производство и распределение. Чтобы эффективно функционировать в качестве компонента точного производственного графика, вы должны развить способность реагировать на непредвиденные события, вы должны научиться жить в условиях того, что теперь обозначают неуклюжим неологизмом «прекаритет». Периоды труда чередуются с периодами безработицы. Обычно вы оказываетесь заняты в нескольких краткосрочных работах, лишаясь возможности планировать что-то на будущее. И Марацци, и Сеннет указывают на то, что дезинтеграция устойчивых трудовых паттернов отчасти следовала желаниям самих рабочих — именно они не хотели, что вполне понятно, работать на одной и той же фабрике по сорок лет. Во многих отношениях левые так и не смогли оправиться от того, как их провел Капитал, мобилизовав и поглотив желание освободиться от фордистской рутины. <...> Следствием, как указывает Марацци, является то, что постфордистские рабочие стали напоминать евреев из Ветхого Завета, после того как те оставили свой «дом рабства»: они освобождены от уз, к которым они не хотят возвращаться, но в то же время они брошены, оставлены в пустыне и не понимают, куда держать свой путь».

[3] Старикам оказываются темпорально иммобилизованы — тут, конечно, не избежать некоторой путаницы метафор — в прямом смысле: им просто-напросто отказано в возможности свободного исторического движения. В свете дальнейшего изложения, однако, следует иметь в виду, что «подавление свободы в современной культуре осуществляется в форме мнимого, как бы слишком легко преодолимого запрета на свободное пространство и действительного запрета на свободное время. Мобильность, отождествляемая с пространственной свободой, в действительности

является превращенной формой темпоральной несвободы» (Ганжа А. Г. Модальности принудительного в современной культуре // *Философия свободы*. Отв. ред.: Д. Э. Гаспарян. СПб.: Алетейя, 2011. С. 235.) — и, по-видимому, vice versa.

[5] Как показал Константин Фазолт, «анахронизм является политическим изобретением, сделанным религиозными реформаторами и гуманистами в их борьбе с папством и Священной Римской империей. С его помощью они могли, в частности, оспаривать знаменитый принцип *translatio imperii*. А вместе с анахронизмом на свет появилась идея онтологической несовместимости порядков прошлого и настоящего...» (Олейников А. Политика времени // *Социология власти*. №2. 2016. С. 12.)

[18] Как замечает Илья Клигер, чаще всего «отказ от осмысления времени в пространственных категориях приводит к умножению именно пространственных метафор для описания альтернативного видения истории» (Клигер И. Археология движения и система систем. О несинхронных моделях истории в работах формальной школы // *Русская интеллектуальная революция 1910–1930-х годов: Материалы международной конференции (Москва, РАНХиГС, 30–31 октября 2014 г.)*. М.: Новое литературное обозрение, 2016. С. 52.)

[22] См.: Bloch E. Nonsynchronism and the Obligation to its Dialectics // *New German Critique*. 1977. № 11. Pp. 22–38. Судя по всему, эти интуиции были подсказаны искусствоведческими построениями Вильгельма Пиндера, изложенными в книге «*Das Problem der Generation in der Kunstgeschichte Europas*» (1926). Ср.: «To a notion of the one-dimensional movement of historical time, Pinder opposes a three-dimensional historical space in which each «point of time» is a plumb line through a broad band encompassing various generations, rhythmically staggered and unfolding at different stages. (Compare Bloch: «History is not an essence advancing linearly, in which capitalism, for instance, as the final stage, has resolved all previous stages, but is rather a polyrhythmic and multi-spatial entity with enough unmastered and as yet by no means revealed and resolved corners.») Just as Bloch's

notion of nonsimultaneity is a challenge to institutionalized Marxism's traditional tendency to fall into historical determinism and its belief in an unproblematic progress. Pinder's book represents a challenge to art history's traditionally unilinear sense of historical time; and where Bloch raises the «problem of a multi-layered dialectic.» Pinder had already written of art history's need to address the «multi-levelled reality» of history.» (F. J. Schwartz. Ernst Bloch and Wilhelm Pinder: Out of Sync // Grey Room. № 3. 2001. P. 63-64). Чрезвычайно занимательную поколенческую проблематику в настоящем тексте обсуждать, увы, не приходится.

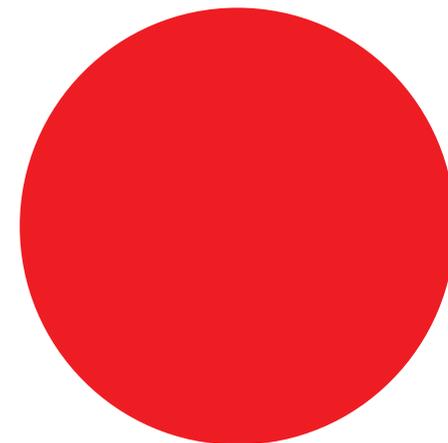
[28] Термин Осборна, см.: Osborne P. Anywhere or Not at All: Philosophy of Contemporary Art. London: Verso, 2013. Это можно сравнить, например, с тем, как «первичные» речевые жанры, по Бахтину, включаются в сложные конфигурации интегральных «вторичных» жанров. С этой точки зрения темпоральные конструкции, которые мы обнаруживаем в тех или иных художественных текстах, оказываются, в самом деле, продуктами лабораторий конструирования новой (темпоральной) политики.

В статье использованы иллюстрации Андреаса Тёпфера из книг «Speculative Drawing» и «Поэтика настоящего времени».





 радио
в пещере



Золотой возраст, кадзимая и совет старейшин

КИРИЛЛ АЛЕКСАНДРОВ

Текст Кирилла Александрова об актуальности темы «практик старости» и об отношении к пожилым людям в разных культурах

как там дела?
в стены входят прозрачные люди —
прошлые мы
разговаривают тенями слов

тень слова «будет»
похожа на большой палец
изображающий ухо собаки
остальные четыре пальца изображают лай

как там луна?
в землю тычутся капля, капля —
падают с веток
уже после дождя

как сохнет острый гравий?
на кривой грани камня сначала
гладкая вода
потом мелкие мокрые точки

— луна, ёж выйдет?
(вырос
или состарился?)
— а ты сам?

(Василий Бородин)

Когда мы только начинали готовить материалы для номера о «старости», я, честно говоря, не до конца понимал, насколько эта тема нова для человечества относительно, например, того же правого-левого. Поэтому для меня было удивлением узнать, что геронтология начала оформляться в самостоятельную науку только со второй половины XIX века, и только тогда начали появляться первые серьезные статистические исследования по демографии, в том числе — о пожилых людях.

С этого времени в разных странах начала развиваться действительная социальная забота о нетрудоспособных (хотя, например, в Англии ещё в 1601 году был принят The poorlaw relief act — один из первых законов об ответственности государства за немощных и неимущих стариков). Да, речь именно о нетрудоспособных, потому что ещё совсем недавно потеря трудоспособности являлась основным критерием наступления старости. В этом плане человек пожилой и человек, скажем, потерявший руку, ничем друг от друга не отличались ни для компаний, ни для государства, ни для общества. И это не совсем правильно.

Хотя говорили о старости как об отдельном феномене уже давно. Например, в диалоге Цицерона «О старости» один из действующих лиц — Катон — последовательно опровергает четыре упрека, которые старикам приходится слышать: будто бы старость 1) препятствует деятельности человека; 2) ослабляет его силы; 3) лишает наслаждений; 4) приближает к смерти (к слову, во многих культурах на отношение к старости огромное влияние оказало учение о загробной жизни).

Так вот, лишь пару сотен лет назад начали возникать первые научные теории, которые обосновывали

необходимость назначения государством пенсий по старости, и только тогда начали появляться зачатки корпоративной социальной ответственности. Однако, по словам социологов, своеобразная «реабилитация» старости происходит лишь во второй половине XX века, и совсем с недавних пор старость понимается как самостоятельный и, условно скажем, не всегда и не для всех худший период жизни. Сейчас мы можем говорить о том, что постепенно меняется само содержание слова «старость»: помощь престарелым перестаёт считаться благотворительностью и осознаётся как общественный долг (опять же не всеми и не всегда).

Дело в том, что продолжительность жизни стала стремительно расти совсем недавно, до XIX-XX века процент пожилых был недостаточно велик, чтобы выделить их в отдельную социальную группу. Но сейчас динамика просто поражает — за последние сто лет средняя продолжительность жизни населения планеты возросла на двадцать лет с — 46 (1900 г.) до 67 лет (2017 г.).

По данным Всемирной организации здравоохранения в 2006 г. число пожилых людей составляло 700 миллионов человек, а в 2016 г. приблизилось к 850 млн. человек. В наиболее развитых регионах мира, в настоящее время почти пятую часть населения составляют лица пожилого возраста, на планете живут десятки миллионов долгожителей, перешагнувших 80-90-летний рубеж.

А в опубликованном экспертами ООН в 2012-м году докладе «Старение в XXI веке: триумф и вызов» говорится, что количество стариков к 2050 г. превысит 2 млрд. человек, что составит примерно 22% от общего населения планеты и, как бы страшно это ни прозвучало, превысит количество детей.

количество стариков к 2050 г. превысит 2 млрд. человек, что составит примерно 22% от общего населения планеты и, как бы страшно это ни прозвучало, превысит количество детей

В ЖИЗНИ ПОЖИЛОГО ЧЕЛОВЕКА ВАЖНУЮ РОЛЬ ПО-ПРЕЖНЕМУ ИГРАЮТ СОЦИАЛЬНЫЕ ИНСТИТУТЫ, ОТНОШЕНИЕ СО СТОРОНЫ ОБЩЕСТВА, КОТОРОЕ ДАЛЕКО НЕ ВСЕГДА СОТВЕТСТВУЕТ НАШИМ ПРЕДСТАВЛЕНИЯМ О ЗАБОТЕ, УВАЖЕНИИ, ПОНИМАНИИ И, В КОНЦЕ КОНЦОВ, БАНАЛЬНОЙ ВЕЖЛИВОСТИ

Таким образом мы видим, что вопрос отношения к «старости» и «старым людям» становится всё более актуальным. Как раз об этом хотелось бы поговорить в статье. В стартовом обсуждении темы номера прозвучала мысль о том, что в России мы почти не видим стариков, которые выглядели бы счастливыми. А если видим, то это, зачастую, путешественники-европейцы. Да, действительно, в Европе и в США сейчас стали популярны термины «третий» и «золотой» возраст, заменившие понятие «пожилой». Люди в этом возрасте всё чаще хорошо выглядят, ухожены, водят автомобили, много путешествуют и пользуются всеми общественными благами (причём даже теми, которые, возможно, не были им до этого доступны). А учёные, тем временем, исследуют творческий потенциал пожилых людей и вопрос секса в «золотом возрасте».

В современной западной культуре (в том виде, в котором мы с ней соприкасаемся) старость как будто бы исчезает, и теперь старый человек — это «человек в солидном возрасте», «очень хорошо сохранившийся» и ведущий относительно активный образ жизни. Это всё по-прежнему весьма условно, но, по крайней мере, есть подобная динамика.

--

Однако мы видим, что в России на самом деле картина не столь радужная: государство не может полностью удовлетворить нужды пенсионеров — в жизни пожилого человека важную роль по-прежнему играют социальные институты, отношение со стороны общества, которое далеко не всегда соответствует нашим представлениям о заботе, уважении, понимании и, в конце концов, банальной вежливости.

В этом вопросе многое держится на традициях, которых в нашем обществе почему-то не сложилось. Ведь дело

не в государстве, а в персональной ответственности — в осознанном понимании того, что все мы люди (независимо от возраста) и что не всё подчиняется материалистическим законам, но об этом мы ещё поговорим.

В этом тексте мне хотелось бы порассуждать о тех примерах в мировой культуре, когда отношение к старикам можно назвать «образцовым» или «примерным», что, думаю, может послужить первым шагом к изменению и нашего к ним отношения (если, конечно, вы не считаете его образцовым).

--

Если соотносить текущую ситуацию с тем, что было раньше, то можно заметить, что до недавнего времени функцию конвенционального закрепления норм отношения к старшим выполняла религия. В древности старейшины были хранителями традиций племени, обеспечивая преемственность (как мы знаем, в некоторых странах такой уклад сохранился до сих пор). Постепенно происходило разделение функций: одни старейшины олицетворяли культ предков, а другие (жрецы) — культ богов.

Оформление патриархальных отношений в большей части мира приводило к сакрализации фигуры старца, к развитию культа старого вождя. Этот мотив стал сквозным для мировой цивилизации в целом и локальных культур. Особое развитие он получил в иудейско-христианской традиции, где библейские пророки и апостолы персонифицируют общественную мудрость. Например, в православно-христианской традиции святой человек — это, как правило, седовласый старец.

В буддизме считается, что тела святых старцев не подвержены тлению, ибо в них отсутствует все то,

что унижает человека. Впоследствии эта концепция получила развитие и в уже упомянутой христианской традиции, согласно которой мощи святых угодников нетленны.

Если от мировых религий перейти на следующий уровень и поговорить о традициях заботы о стариках у разных народов, то на ум сразу приходит Кавказ, где традиционно сложилось уважительное отношение к старикам. На Кавказе их считают главными в семье, в роду, они пользуются моральной и материальной поддержкой со стороны родных, близких и соседей.

Например, в Абхазии в больших семьях пожилые главенствуют на семейных советах, выступают в качестве основных представителей семьи на свадьбах, похоронах, религиозных церемониях, входят в советы старейшин сёл.

Поэтому, как мне представляется, можно говорить о том, что у пожилых людей на Кавказе отсутствует чувство тревоги и неуверенности перед старостью, ведь с её наступлением их социальный статус только возрастает. Таким образом, старение и связанные с ним возможные отрицательные изменения физического характера не приводят к депрессивным состояниям психики, что, по-видимому, имеет прямую связь с феноменом долгожительства.

Ту же картину я наблюдал, когда жил в Узбекистане, где пожилые — это самые уважаемые в обществе люди. Причём не важна ни национальность, ни семейные узы — любой пожилой человек по умолчанию требует к себе уважения и почитания. То же с социальными функциями. Например, в роду у знакомого моего отца долгое время не рождалось мальчиков, что ставило под угрозу его продолжение.

Все были этим очень обеспокоены, и когда, наконец, уже в солидном возрасте у него родился сын, то со всех городов, махаллей и кишлаков съехался совет старейшин, чтобы, во-первых, должным образом отпраздновать событие и, во-вторых, выбрать имя мессии. Спорили неделю, никак не могли выбрать — процесс очень ответственный, много разных точек зрения, аргументов, расхождений, молодым, что называется, не понять. И когда старейшины уже окончательно выбились из сил, в чайхону, где проходило заседание, вбежала маленькая сестрёнка новорождённого. Кто-то из старцев мудро предложил — пусть ребёнок решит! Малышку спросили, как назвать братика, на что та, нисколько не сомневаясь, звонко воскликнула: «Вася!». Повисла пауза. Мальчика в итоге назвали, кажется, Азим. Почему бы нет. Старшим, всё же, виднее, что и требовалось доказать.

Одним словом, в среднеазиатских странах мы тоже наблюдаем положительные взаимоотношения различных поколений. Наступление старости не грозит пожилым потерей социального статуса. На самом деле, здесь мы опять же можем говорить о более общей тенденции принятия — в Средней Азии (хотя о Юго-Восточной я не раз слышал то же самое) прекрасно относятся к гостям, к путникам, это очень важные традиции, которые позитивно сказываются на атмосфере в обществе. С отношением к женщинам, правда, там не всё так радужно, но я бы не стал здесь говорить о каком-то балансе или его отсутствии. По крайней мере, в этом тексте.

Также отдельно отметить стоит Японию и, в частности, жителей знаменитого острова Окинавы, которые традиционно считают 60-ти летний возраст началом счастливой старости. Среди жителей острова распространена такая притча: «В 70 лет ты все еще ребенок, в 80 лет — молодой мужчина или женщина. И если

в 90 лет кто-то с Неба пожелает к тебе с приглашением, скажи ему: «Просто уходи и возвращайся, когда мне будет 100».

У окинавцев есть древняя традиция торжественно отмечать переход к новой жизни, которая, по их поверью, начинается на 97 году жизни. Этот обряд называется «кадзимая», когда наряженного в парчу именинника или именинницу в машине с открытым верхом возят по всей местной округе. Затем 97-летнего виновника торжества сажают на специальный мини-трон, по очереди к нему подходят люди, чтобы принять из рук долгожителя вертушку-флюгер «кадзимая», символизирующую возвращение в детство и обещающую долгую жизнь.

Одним из важных факторов долголетия окинавцы считают свою, выработанную веками, жизненную философию, которую они называют рациональной отрешенностью. В основе такого отношения к жизни лежат местные обычаи, традиции и учение дзен, что позволяет воспринимать каждый день, как первый, оставлять прошлое в прошлом и наслаждаться простыми радостями каждое мгновение жизни.

Большинство жителей Окинавы привыкли до глубокой старости работать физически и помогать друг другу. Так зародился местный принцип юимару, что можно перевести как «добросердечное и дружеское совместное усилие». Также у окинавцев есть древняя традиция моаи, которая обеспечивает крепкие социальные связи, источники финансовой и эмоциональной поддержки в трудные периоды жизни. Это японское слово в приблизительном переводе означает «встреча ради общей цели». Первоначальное его значение — финансовая помощь соседей (вкладчину соседи могли помочь купить земельный участок или выйти из некой экстренной ситуации). Сейчас слово

получило еще один смысл — социальная поддержка, дружеские встречи и общение. Окинавцы говорят: «Если мы узнаем, что кто-то впал в уныние, мы навещаем его». Сознание того, что есть люди, готовые всегда прийти к тебе на помощь, действует на пожилого человека как психотерапия и имеет успокаивающий эффект.

Такое же почтительное отношение к пожилым людям в течение многих веков сохраняется и в Китае за счёт конфуцанской традиции почитания старших. Например, в городе Чжунсян, который занимает в Китае третье место по числу долгожителей, только двое престарелых живут отдельно от своих детей. Остальные все окружены вниманием своих многочисленных детей, внуков, правнуков и т.д. Возраст от 60 до 70 лет со времён Конфуция считался «желанным», ибо, по его словам, он «в семьдесят лет следовал желаниям сердца и не переступал меры».

Таким образом, в восточных странах, как и на Кавказе, основным социальным фактором долголетия является большая прочная семья и крепкие социальные связи. Я бы не стал противопоставлять эту модель западной, где общество более атомизировано, а благополучие пожилых людей обеспечивается скорее государством и их собственными усилиями, чем за счёт прочных семейных уз, потому что моделей и ситуаций, как мы все понимаем, великое множество. Помните голливудский фильм «Стой! Или моя мама будет стрелять»? И на западе есть случаи (и их много), когда жизненную энергию старшее поколение даже в преклонном возрасте черпает в заботе о молодых.

Но здесь я бы не согласился, что семья, традиции и/или государство должно быть панацеей от всех стариковских бед и забот. Меня немного смущает

казалось бы, достаточно осознанного отношения к пожилым людям со стороны каждого из нас, важно всегда задавать себе вопрос «правильно ли я себя веду?», «чем я могу помочь?» или, например, «почему я чувствую пренебрежение/отторжение» (если это так)

статистика, утверждающая, что во всех странах мира холостые, вдовцы и разведенные живут меньше, чем женатые и семейные. Это весьма нездоровая история, на мой взгляд. Ведь, казалось бы, достаточно просто осознанного отношения к пожилым людям со стороны каждого из нас, важно всегда задавать себе вопрос «правильно ли я себя веду?», «чем я могу помочь?» или, например, «почему я чувствую пренебрежение/отторжение» (если это так). Необходимо прорабатывать в себе все эти моменты, причём не только по отношению к пожилым, но и по отношению к людям вообще. Тривиальная мысль и, увы, не теряющая своей актуальности. Особенно в России, где пожилой человек зачастую ощущает себя жертвой политики государства, где остро стоит проблема оставленности, заброшенности, ненужности стариков.

Напоследок приведу цитату из одного текста с сайта anthropology.ru, посвящённого теме старости, где, по всей видимости, пожилой человек говорит от своего лица и основываясь на своём личном опыте:

«если есть определенные представления о пожилом возрасте, именно с ними будет резонировать наше подсознание. В этом аспекте мудрость — это способность разобраться в системе собственных убеждений, взаимоотношений и представлений. Процесс старения организма начинается с того времени, когда человек сам для себя решает, что достиг среднего возраста. На рубеже XX века 50-летний человек считался старым. В конце XX века 80-летний возраст не является пределом. Необходимо вернуть старшее поколение на его законное почетное место, ведь старость заслуживает признания и уважения. Необходимо освободить свое сознание от комплекса жертвы. Пока мы ждем, что правительство наладит дела, увеличит пенсии, мы не добьемся успеха как социальная группа. Необходимо объединяться с конструктивными решениями

своих проблем. Неважно, какой направленности будут общественные организации, созданные пожилыми людьми, главное, чтобы шла инициатива снизу. А передать знания, опыт молодому поколению есть кому. Кроме того, пожилые люди должны сыграть свою роль в концепции национального примирения и согласия. Не стыдиться и не стесняться старости, хотя бы потому, что наша сегодняшняя жизнь без них была бы серой и бледной».

И действительно.

Фотографии Виши Эхо

И действител
И действител
И действител

И действител

И действительно.

запоминать исчезновение

ВЛАД ГАРИН

В статье на примере произведений трех европейских писателей анализируются возможные варианты отношения к процессам устаревания, умирания и исчезновения

*

Писатель Мишель Уэльбек разрабатывает тему устаревания человека в капитализме в разных обстоятельствах и под разными ракурсами: здесь и старики, безуспешно пытающиеся мастурбировать на молодые тела, и постепенно теряющие привлекательность женщины, и в целом успешные представители творческих профессий (как в «Карте и территории» — писатель, художник и архитектор), всё дальше и всё бесповоротней закрывающиеся в панцире индивидуалистического одиночества. При этом нельзя сказать, что рассуждения Уэльбека строятся из соображений какой-то сложной логики. Нет, причинно-следственная связь пугающе прозрачна: разрушение института семьи и капиталистическое производство, которое на упомянутый процесс накладывается. Всё это также связано с режимом неолиберализма, исключающего возможность налаживания сильных коллективных связей (хотя к левым политическим практикам писатель также относится с нескрываемой иронией).

Из этих текстов складывается ощущение, что европейская цивилизация попала в простую, но безвыходную западню: потоки капитала, разрушающие семью и превращающие человеческие тела в товар, скорость устаревания которого в соответствии с «диктатом маркетологов» всё увеличивается, обрекают индивида на атомизированное и отчужденное существование, в то время как любые попытки исправить ситуацию грозят правым поворотом и возвращением к жестоким традиционным ценностям. Последнее соображение, кстати говоря, очень похоже на правду: мы видим, что и в Европе, и в Америке голосующие граждане зачастую вынуждены выбирать из двух очевидных зол — либералов,

легитимизирующих капитализм, и новых консерваторов, предлагающих возвращение к правым ценностным координатам, которые обещают нечто хорошее для мнимого большинства и различные виды исключения для всех остальных.

Как бы там ни было, пока современная произведения Уэльбека Европа находится в некоем подвешенном состоянии, образ старости, изображаемый писателем — это стерильные центры эвтаназии, в которых за круглую сумму благодущный (и никому по-настоящему не нужный) европеец получает право комфортно (и жутко) завершить земной путь.

*

Есть ли выход из такого положения дел?

Писатель Джулиан Барнс в романе «Нечего бояться» предлагает иную оптику для того, чтобы смотреть на старость и грядущую смерть: вместо капиталистических структур, в которые, как кажется, тем или иным образом вписывается любой герой уэльбековской прозы — фиксация на предельно личной истории, которая включает кропотливое копошение в памяти (и понимание, в конце концов, того, что нарратив памяти совершенно фиктивен), переживание смерти близких и чтение дневников любимых писателей, которым также было чего бояться.

В одном из эпизодов романа описывается некий клуб джентльменов, члены которого (журналисты, писатели, поэты и т.д.) на протяжении многих лет собирались раз в неделю. Барнс иронично регистрирует перемены, производимые временем: «Другая неделя, другое застолье: семеро писателей встречаются в кабинете на втором этаже венгерского ресторана в Сохо. Тридцать с чем-то лет назад установилась

традиция подобных пятничных обедов: шумных, прокуренных, с выпивкой и спорами, собраний журналистов, писателей, поэтов и карикатуристов в конце очередной рабочей недели. За это время место встречи несколько раз менялось, а состав участников уменьшился от переездов и смертей. Теперь нас осталось семеро, старшему за семьдесят, младшему сильно — очень сильно — под шестьдесят. Это единственное мероприятие только для мужчин, которое я сознательно или охотно посещаю. Из еженедельного оно незаметно превратилось в ежегодное: порой это почти что одно воспоминание. С годами сменился и его настрой. Теперь мы меньше шумим и больше слушаем, меньше хвастаемся и соревнуемся, больше дразним и потакаем друг другу. Нынче никто уже не курит и не приходит с твердым намерением напиться, что раньше казалось самодостаточным основанием. Теперь нам нужен отдельный кабинет, не из-за пижонства или страха, что подслушают наши лучшие шутки, а поскольку половина из нас глуховата — кто-то, не скрываясь, надевает аппарат, садясь за стол, кто-то пока не признается в этом. У нас выпадают волосы, нам нужны очки; наши простаты медленно раздуваются, сливной бачок за лестницей редко простаивает без дела. Но в целом мы бодры и по-прежнему работаем».

В итоге Барнсу удастся, насколько возможно хладнокровно описывая смерть родителей героя (который, впрочем, в тексте максимально приближен к автору), страхи друзей-танатофобов, медленное — а подчас и резкое — устаревание тела, ужас и болезни умерших писателей, — удастся отстраниться от социального контекста, столь пестуемого Уэльбеком, в пользу чисто онтологической проблематики. И действительно, иной раз, читая «Нечего бояться» и удерживая в голове тексты Уэльбека, хочется всплеснуть руками и спросить: ну какой уж тут капитализм?

Только разгоняющее страх время и немолодой мужчина, в очередной раз проснувшийся от кошмара посреди ночи.

Конечно, позже, когда аффективное негодование на чрезмерно желчного Уэльбека утихнет, понимаешь, что старость Барнса — это, как ни смешно, привилегия. Это старость человека культуры, человека, у которого есть возможность просыпаться в холодном поту и напряженно вслушиваться в свои приступы паники, сверяя их с приступами паники Эмиля Золя, Тургенева и Флобера.

*

Роман В. Г. Зебальда «Кольца Сатурна» — это, по сути, некоторые записи героя о своем длительном пешем путешествии по Англии, записи, что как нельзя точно подходит для тематики этого эссе, начатые в больнице: «...ровно через год после начала путешествия меня в состоянии почти полной неподвижности отправили в больницу Нориджа, главного города графства Норфолк, и там я, по крайней мере мысленно, начал эти записи. Я еще хорошо помню, как очнулся в палате на девятом этаже больницы и как вдруг представил себе просторы Суффолка, где бродил прошлым летом, сжатыми в одну-единственную слепую и глухую точку. И в самом деле: с моей больничной койки весь мир представал в виде бесцветного кусочка неба в раме окна».

Зебальд, как и Уэльбек с Барнсом, пишет об устаревании и умирании, правда, отставляя подальше и напряженную социальность, и невротический морок личной истории. Сюжетообразующей интенцией прозы Зебальда является всеобщая энтропия: все механизмы выходят из строя, профессии теряют актуальность, города приходят в запустение, люди

умирают. Всё исчезает, просто постепенно (а иногда и внезапно) перестает существовать. При этом героя отличает чрезвычайная внимательность, напряженное всматривание в устройство и историю самых разных объектов и явлений: в его поле зрения попадают бабочки-шелкопряды, деревья, старые дома, одинокие люди, застрявшие в сетях меланхолии и не понимающие, как жить, колонизированные народности и многое другое, когда-то существовавшее или же по случайности существующее до сих пор. При этом, если Барнс признает свои воспоминания фальшивкой, Зебальд, как кажется, ни на что особенно не рассчитывая, всё же пытается что-нибудь запомнить в распадающемся на глазах мире. И хотя зебальдовская проза абсолютно безжалостна в смысле возможных надежд на спасение (до безжалостности такого уровня далеко и мизантропичному Уэльбеку, и утонченно-пессимистичному Барнсу), именно эта внимательная попытка запомнить хоть что-то через невозможность ничего запомнить создает аккуратную оптику писателя, которую хочется назвать постгуманистической. Эта оптика позволяет Зебальду выйти за рамки бесконечно длящегося переживания личной трагедии (Барнс), подняться над уровнем горького описания краха той или иной культурной общности (Уэльбек) — и увидеть ужас гораздо большего и гораздо более трудновыразимого масштаба.

Для Зебальда старение того или иного человека — это просто частный случай всего того, что происходит вокруг. Из такой честной регистрации разрушения неожиданным образом рождается новое, лишённое пошлой сентиментальности сочувствие.

«На другом берегу я распрощался со своим паромщиком, перелез через высокую насыпь и двинулся по асфальтовой дороге (уже заросшей травой) через бесцветное широкое поле. День был пасмурный,

гнетущий и такой безветренный, что не шевелились даже стебли тонкой степной травы. Уже через несколько минут мне стало казаться, что я иду по неоткрытой земле, чувствуя себя совершенно свободным и безмерно подавленным. Помню как сейчас, что в голове у меня не было ни единой мысли, и с каждым шагом пустота во мне и пустота вокруг меня все росла и тишина становилась все глубже. Внезапно меня пронизал почти смертельный ужас, вероятно, потому, я думаю, что прямо у меня из-под ног выскочил заяц, прятаящийся на обочине в зарослях травы. Выскочил, заметался туда-сюда вдоль разбитой дороги, а потом двумя прыжками снова рванул в поле. Он, должно быть, сидел, скорчившись, с бешено колотящимся сердцем, на своем месте. И ожидал, не в силах двинуться, когда я пройду, и чуть было не опоздал спасти свою жизнь. И тот крошечный миг, когда охвативший его паралич превратился в паническое движение бегства, и был тем мигом, когда меня пронзил его ужас. С прежней, непостижимой отчетливостью я вижу, что произошло в тот ужасный момент, едва ли составивший долю секунды. Вижу кромку серого асфальта, каждую отдельную травинку; вижу, как заяц выскакивает из своего укрытия; вижу его прижатые к спине уши, какое-то расколотое, странно человеческое лицо; глаз, от страха чуть не вывинчивающийся из головы. И в его взгляде, на бегу обращенном назад, я ловлю свое отражение. Как будто я слился с ним в единое целое. Только через полчаса, когда я дошел до широкого рва, отделяющего степь от огромной гравийной отмели, спускающейся к морю, у меня перестало так сильно стучать сердце. Я еще долго стоял на мосту, ведущем на территорию бывшей исследовательской станции».

Прорабатывая травму, складывающуюся из множества травматичных событий прошлого и настоящего, Зебальд, конечно, помнит о капитализме (чего

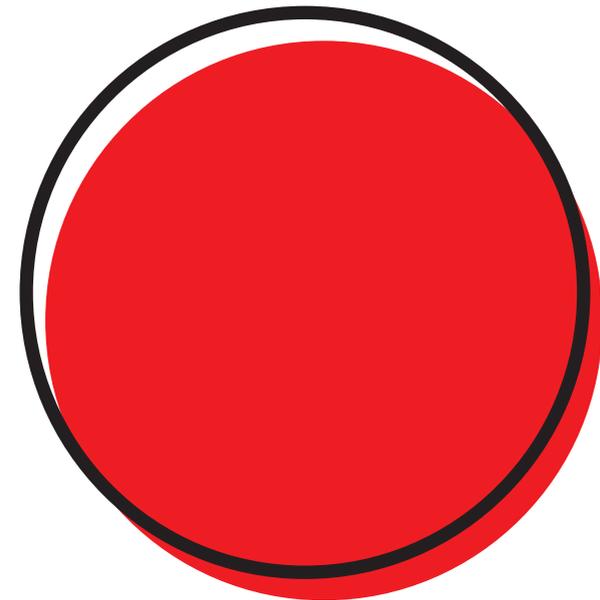
только стоит описание колонизации южных земель, увиденное глазами другого известного писателя и путешественника), который, впрочем, приобретает у него более онтологический характер, становясь, если можно так выразиться, «космическим капитализмом», масштабными силами, производящими разрушения. Здесь людская алчность неотличима от смерча, сметающего вековые деревья. Недаром Коженёвский в «Кольцах Сатурна», начиная осознать всю «абсурдность колониального дела» пишет своей только что овдовевшей тете: «Жизнь — это трагикомедия — много мечтаний, редкая вспышка счастья, немного гнева, за которыми следует разочарование, годы страданий и конец, — в которой хорошо ли, плохо ли, но приходится играть свою роль». Так осознание колониальной жестокости и бессмысленности транспонируется на весь остальной мир, наблюдаемый героем.

В некоторых (и, по-моему, лучших своих) моментах Мишель Уэльбек приближается к зебальдовскому взгляду: в концовке «Карты и территории» силы капитализма и силы природы как бы объединяются в желании вытеснить человека из жизни и разрушить некогда созданные им вещи, заполнив пространство сложной культуры своей негативной сложностью, лишенной человеческого. В этом отношении Уэльбек напоминает некоторых современных философов нигилистического толка, представляющих капитализм как машину, использующую человечество и, в конечном счете, выходящую за его пределы, отбрасывающую его, как устаревшую игрушку.

Оптика Зебальда предполагает более аккуратные сборки объектов, эта оптика, которую я ранее назвал постгуманистической (в том смысле, что она не привязана только к человеческим страданиям и судьбам), на самом деле работает из места человеческой

культуры, парадоксальным образом пытаюсь совместить преодоление антропоцентризма с его продолжением на иных началах. Эти начала — постоянно разыгрывающаяся катастрофа жизни и желание всё-таки запомнить и воспроизвести какие-либо малые части исчезающего или уже исчезнувшего мира.

Иллюстрации Гали Даутовой





104 MC

WAVE